

В Л А Д И М И Р

МАҚАНИН



ИСПУГ



Владимир Маканин

Испуг

«ЭКСМО»

2011

Маканин В. С.

Испуг / В. С. Маканин — «Эксмо», 2011

Главы этого удивляющего нас романа расположены не вполне по хронологии, а так, как их построила прихотливая память рассказчика. И возможно, поэтому сюжет постоянного «поединка» – нескончаемого возвращения стареющего мужчины к юной женщине (сюжет сатира и нимфы) – так легко пронизывает весь роман от начала и до конца. Плодотворной попыткой воссоздать прекрасный и все еще работающий двухтысячелетний миф средствами современной романной прозы назвал «Испуг» критик Марк Амосин. Обобщенный образ постаревшего шестидесятника увидел в «живучем старикане» критик Виктор Топоров – и в свой черед предрек ему живучесть современного литературного героя. В большой, объемной главе «Белый Дом без политики» читатель найдет уникальное, в красках и в подробностях, изображение исторического обстрела Белого дома в 93-м году, увы, так и не продолженное, не подхваченное нигде больше в современных рассказах и романах. Как воскликнул в Интернете блогер: «Читайте! Читайте «Испуг»!.. Не пожалеете!»

© Маканин В. С., 2011

© Эксмо, 2011

Содержание

Неадекватен	5
1	5
2	14
3	21
4	29
5	34
За кого проголосует маленький человек	40
В утробе	47
1	47
2	49
3	52
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Владимир Семенович Маканин

Испуг

По левой стене зала – Жан Антуан Ватто. «Сатир и испуганная нимфа» («ИСПУГ»). Можно оценить трепетную игру красок, а также великолепную мизансцену.

И, как всегда у Ватто, особый интровертный психологизм. Кто, собственно, испуган? Где чей испуг?.. Обратите внимание, как робок душой, как смущен и зажат бедняга сатир и как вдохновенно лицо испуганной нимфы.

Из каталога выставки

Конфликт между президентом Ельциным и тогдашним парламентом России разрешился в Москве в 93-м году. О нем, уже скучая, пишут историки. Уже поставлена точка. Но любопытен один необычный и, можно сказать, феноменальный факт тех напряженных дней.

Речь о группе стариков, оказавшихся в день обстрела рядом с Новоарбатским мостом. Их никто не собирал. Они не сговаривались заранее. У них не было никаких пенсионерских плакатов или плакатиков. Никем не званных, их было более полусотни. И большинство из них не знали друг друга. (Некоторые газетчики писали о сотне и даже двух сотнях белоголовых.) Старики ничего не выкрикивали. Они просто стояли неподалеку от танков, бивших прямой наводкой по Белому дому. Старики просто смотрели.

«Пришли ли белоголовые одуванчики привычно потоптаться, как в очереди? – задавались вопросом журналисты. – А то и посмотреть на черные побитые стены Дома, на стрельбу, на кровь?.. Или, скажем, одуваны все-таки приехали (а ведь большинство несомненно добиралось транспортом), чтобы полюбопытствовать, поглазеть на ход Истории?»

Когда у одного из них спросили, зачем он ходил туда, к Белому дому, старикан не знал, что ответить. Лицо его пошло мелкими, подозрительными морщинами. Он осклабился:

– А испуг был.

Из газет

Неадекватен

*Человек думает и рассказывает о красоте. В конце-то концов!..
Поль Валери*

1

Одежда его вечерами проста и всегдашняя – темно-серый пиджак, темные брюки. Также темная беретка, придающая ему знаковую интеллигентность: он лишь слегка надвигает беретку на высокий лоб. Туфли как туфли, неприметные. В целом же – все для ночи, невидный, неброский. (Но в этом нет умысла. Так получилось. Другой одежки просто нет.) В лунную ночь ста-

рикан Алабин, как правило, бродит по дачному поселку. (А лучше б спал!) На ночной дороге он в профиль покажется вырезанным из черной бумаги.

Светлое пятно в нем тоже есть: в разлете пиджака белая рубашка. Со старомодными уголками воротника – пристегнутыми на пуговички. Рубашкой он гордится, чистая, белая, – у него их две! Они надежно сменяют друг друга. Стирает их он сам. Одинокий.

Сняв с плечиков, надел рубашку. Брюки. Пиджачок...

– Мой вечерний костюм, а? – говорит старикан Алабин сам себе, по привычке всех одиноких. (И многих неодиноких.)

Он как бы посмеивается... Однако же вдруг очень уважительно проводит по плечам и полам пиджака влажной тряпицей. Моль – известный недруг одиноких стариканов.

Пиджачок... теперь беретка... Он готов!

В окно (погасил свет) ударила сиянием ночная луна – старику кажется, что она его поторапливает.

Да, да! – говорит он ей по-приятельски. – Уже иду.

Натягивая еще раз, поудачнее (да, да, покрасивше!) беретку на лоб, старикан выходит из своего скромного домишки в полную тьму.

Дачный поселок спит.

Нет-нет подымая к небу глаза (луна вдруг спряталась), старик вышел на дорогу и поторапливается. Страдающий бессонницей идет, спешит на свидание к луне, почему бы и нет?.. Но идет он не к ней.

– Боже мой! – вздохнула во сне молодая женщина. Прозвучало лишь невнятное, утонувшее в подушке «бы-жи-мый...».

А законная луна, сбросив налипшую тучку, вдруг заново просияла.

Старикан Алабин, только-только вошедший и весь на свету, тотчас напрягся. На свету (если это внезапно) человеку хочется съежиться. Человеку некомфортно. Человеку хочется себя пожалеть и немного оправдать. (Вроде как до света, человек в темноте только и делал, что жил полнокровной и правильной жизнью.) Свет с человека спрашивает.

Но заодно лунный свет дал увидеть себя со стороны: ночь... чужая темная спальня (чужая к тому же дача!)... Пробравшийся сюда старик, сидит рядом со спящей молодой женщиной... правда, на краешке постели... Этот старик – я.

Нет, нет, ничуть не бывало. Я не напрягся, когда луна засияла и меня в чужой спальне залило бледным светом, – я лишь на миг задержал дыхание. Я крепкий старик.

И я вовсе не собирался себя жалеть, оправдывать.

– Игорь? – позвала-спросила она.

Никак я не мог определить, спит ли она. (Я еще задержал дыхание... Надолго.) Когда у женщины в постели голос сонлив и гундос, ясно, что она не спит. Но голос был неотличимо ровный.

Я выждал. Она могла протянуть сонную руку и тихо привлечь меня к себе. (Бывает же и такое!) Или, скажем, в полусне погладить... Тогда бы ясно, что спит. По мягкости ее руки. По мягкости ее ночного желания. Я ведь сидел совсем рядом.

Однако же вместо того, чтобы нечаянно и с ленивой лаской ко мне потянуться, она окликнула мужа по имени.

Я на случай уже отсел к ее ногам. Подальше. Вне отсвета луны.

И затаился.

– Игорюнчик! – звала она, обращаясь к отсутствующему мужу, словно бы он был близко, в другой комнате.

Она так ласково зывала к нему:

– Принеси мне анальгин. И воды немного...

Могло ли быть так, что муж и впрямь вернулся? Рановато ему. (Шума машины не было, это точно.) Но иногда обстоятельства против нас. Машина машиной, а муж мог вдруг вернуться сюда электричкой... и прийти пешком!

Мне стал слышаться шорох шагов.

Настрой был сбит. (Я уже уходил мягким-мягким шагом. Ни шумка.) Через сад и обойти дом – удобнее. У них здесь сплошь яблони и сливы. Ее звали Анна, какое имя! Мог бы звать ее *Аня. Аня. Аня.* (Я уже выбрался через калитку на улицу. Тихо.)

Был ли там, в доме, объявившийся муж Игорюнчик или скорее всего его не было? Звала ли Аня его въехать или со сна? – Я поразмышлял так и этак. Окна темны. Окна нигде не зажглись. Но муж, разумеется, и не включая света мог вернуться... Мог оказаться там. И отозваться. И принести ей сейчас анальгин.

Не зная, на что решиться (колеблясь), я остался стоять напротив их дома. Так и торчал на дороге, залитый насмешливым лунным светом. Я мог стоять здесь хоть до утра. Дорога – она ничья. Можно стоять, можно сесть на траву у обочины. Трава тоже ничья. И мне стало вдруг замечательно! Я все еще вглядывался в завораживающие темные окна.

Смотрел и на луну. Я даже высказал ей несколько слов упрека... Мол, как же так. Пообещать и не помочь – это нехорошо. Я усмехнулся. Это нехорошо и нечестно. Поманить – а потом оставить человека среди ночи ни с чем.

– Как же так, подруга! – повторил я со смешком (и легко вздохнул), не отрывая глаз от светила.

Вернулся в мой Осьмушник – таково прозвище этой пристройки дачного дома. Хозяева – Крутовы – вдруг разом купили эту дачу, здоровенную, большую. А тот аппендикс, что выходит к забору (слесарню и вторую кухню предыдущего хозяина), отдали мне.

Просто так отдали: живи. Со мной они добряки. Зимой (а также среди лета, если Крутовы вдруг на юга, к морю) я присматриваю за всем домом – это ясно.

Так что у меня отдельный клочок земли, отдельный вход сбоку: *осьмушник*, хотя, я думаю, здесь меньше одной восьмой доли всего строения, если в дробях. Но мне хватает. Две комнатки, кухня. Правда, газовая плита отчасти с видом на туалет – готовь себе еду, поглядывая на унитаз. Что-то вроде жрального мemento мори! Ешь, но знай и помни, куда и как это все уплывает с большой волной.

Вошел я и сразу, одним крупным шагом, – направо. Там моя комнатка, одна без дверей.

Вторая, конечно, тоже моя, но вторая комнатка сама по себе, она посветлее и с дверью – она получше. При случае она как бы для летних гостей, для родственников. Как раз гостит мой внучатый племянник Олежка. Приехал дня на три. Он меня любит. Самый теперь близкий мне родич. Так получилось по жизни. Есть, конечно, где-то взрослые мои дети. Есть и дети детей. Есть ведь и жены – вспомнил!.. Однако жены уже прошли. Жены как сезонный жизненный период. Жены как облака. Были – и нет.

То есть жены где-то, конечно, есть, они живые. Как облака, они и сейчас в порядке и где-то плывут высоким небом дальше и дальше; и даже (вполне возможно) кого-то других, терпеливых, осчастливливают хлестким дождичком своих слов. У меня все были говорливые. Давно было!

Олежка спал, молодой, недавно после армии, после войны, чего ж не спать!.. Ищет теперь работу в Москве, а сюда, за город, приехал меня проведать, заодно же негородским воздухом подышать! Полезное с приятным. И вдруг оказался с деньгами – так что меня, старого, подкармливает. Привез сыру, копченой колбасы две палки. (Нашел работу?.. Надолго ли?)

Пройдя к своей кровати, я рухнул. Успел только на миг подумать об Анне, об этой появившейся красавице дачнице, – и заснул. Был с ней рядом! Сидел!.. Но какой же у нее радующийся голос. Даже среди ночи радующийся. Даже со сна. *Дрожащий в воздухе голос.* Легко такую любить.

Утром – раненько! – я встал по нужде, но решил не будить шумом Олежку. У меня грохочущий унитаз. Крутов – хозяин, любит поутру, щуря глазки, меня расспрашивать, откуда такой шум и откуда булжники... Нет? Не булжники?.. Неужели?.. – так с утра он шутит. Ему (как и мне) по душе утренняя звуковая мощь, сам по себе могучий поток – плюс эхо.

Я прошагал в самый угол моего в пять деревьев сада, там летний сортир, скромный, зато весь в сирени. Забравшись туда, тихо-тихо сел на толчок. Все хорошо, и утро как утро, сидел не спешил. Еще и подумал, какая, мол, тишина. И вдруг голоса. Именно что вдруг. Похоже, что я заснул на толчке. Это точно, заснул. Потому что солнце, прорвавшись сквозь сирень и крохотный туз сортирного окошка, уже всю буравило мне темя.

– ...Это ничуть не смешно, Олег.

– Само собой, – отвечал мой племянник (однако опять засмеявшись).

А напевный, нет, дрожащий в воздухе голос повторил, стараясь быть голосом серьезным:

– Ничуть не смешно.

Разговаривали буквально рядом со мной, но территориально уже на улице – с той стороны сирени и забора. Они не знали, где я. Они легко общались, только-только познакомившись: красивая тридцатилетняя Аня и мой широкоплечий племянник.

Из осторожности (это сразу чувствовалось) они оба не хотели, чтобы я их услышал. Должно быть, нет-нет и посматривали в сторону забора и сада, чтобы сразу примолкнуть, если я появлюсь. Дрожал ее голос. Такие ее чистые гласные звуки. Сам летний воздух дрожал! Я бы слушал и слушал... и млея бы, даже сидя на толчке, полусонный. Млея, если бы речь не обо мне. Аня меня ночью узнала. Оказывается, узнала. Новость, от которой мне стало жарко.

Лоб мой прошибло мелким липким потом (еще и от пригревшего темя солнечного луча).

Ночью Аня вполне разглядела – увидела (при луне) – сидящего на постели с ней рядом. Проснулась – но даже не вскрикнула. Смолчала. И оказывается, только чтобы разрядить ситуацию, она, умница, подала голос – вроде как просто позвала мужа: «Игорь!.. Анальгин...» – и еще про воду, запить. Потому что не надо было делать резких движений. Потому что не хотела меня напугать... И сама, прибавила Аня, она не хотела в темноте ночи вдруг напугаться.

– А вот когда ваш дядя ушел, я поняла, что мне страшно.

– Еще бы!

– Я его не виню. Он стар. Он безопасен. Я, Олег, все понимаю... Не всякая женщина его так поймет.

– А он тихо ушел?

– Как тень.

Я слушал, затаив дыхание. Все-таки я успел обидеться на это скользнувшее мелкой льдинкой «безопасен». Я бы тебе показал, милая, этой же ночью, пусти ты меня к себе поближе! Показал бы – стар или не стар! Я бы тебя аттестовал как следует!.. – хорохорился я, сидя на толчке, весь уже взмокший (от прямого солнечного луча). Еще и одуревший, одурманенный буйной в это лето сиренью.

Хорохорился, а меж тем их разговор за забором продолжался. Теперь они оба (с какой-то зловещей суровостью) рассуждали о том, что в ином таком случае перепуганная женщина могла криком поднять весь поселок... И уйти ему не успеть. Прямо у постели... Схватили бы. Сдали бы ментам! (Могли судить.) А уж сколько бы и каких слухов по округе наворотили!.. И, мол, еще очень-очень хорошо, если бы поимка и шум-гам кончились для меня лишь боем и заслуженным отдыхом в ближайшей психушке.

– Сказали, конечно, мужу, Анна Сергеевна?

– Конечно.

– А он?

– Он интеллигентный человек. Хотя расsvирепел.

– Еще бы!

– Сказал, что старика жаль, но жалеть стариков надо умеючи. Что еще?.. Что старика теперь не остановить. Старик повадился ходить ночами. Надо его своевременно показать врачам. Проверить его... и... и тем самым ненавязчиво ему помочь.

– Что значит – проверить?

– В какой-нибудь хорошей деликатной больнице. Это можно. Это сейчас делают... Так сказал мой муж.

Оба продолжали дружно охать и ахать. И всё сокрушались, что такого доброго (как я) и не вполне управляемого старика – не поняв его угасающих чувств (во как!) – иной муж просто бы забил ночью кулаками. Прибил бы. Мог и покалечить... При том, что мужа, с его кулаками, люди еще бы и всем хором оправдали!

Она, молодая, из кожи лезла, хотела показать, как здорово мне в жизни в эту ночь повезло. Благодаря ее чуткости... А каков на все согласный Олежка?..

Я встал с толчка. Сколько можно этот бред слушать! Я живой человек. Я вам не выживший из ума дедок... Если б меня заловили в десятый раз!.. Тогда да – принимайте меры. Согласен. Но сначала поймите...

Пожалуй, ночью завело меня далеко. Согласен. Чувственный удар. (Женщина слишком красива!) Да, был неосторожен. Да, не представился ей я перед ночным визитом. (Не расшаркался. Не предложил вместе выпить водочки.) Но и хватит, хватит об этом!..

Когда, озленный, я резко встал, деревянный кружок, прилипший к заднице, поднялся вместе со мной. Громыкнув, кружок упал на толчок. Звук был сейчас ни к чему. Звук был слышный. Оба переговорщика разом примолкли, насторожившись. Я тоже притих.

Но вот они, постояв и помолчав, оба пошли по дороге – похоже, что к даче, где жила Анна.

Я наконец вылез из сортира. Глядел им в спины, осторожный и совершенно очумевший от сирени. Не спать живому среди цветов. Отравился сиренью. (Надо же, вздремнул, сидючи на толчке!) Меня душило. И еще полдня разламывалась голова.

Олежка вернулся и с наигранным восторгом мне рассказывал, как хорошо поутру он только что прогулялся! – а я тоже сыграл в хорошо выспавшегося и уже завтракавшего. Я завтракал яичницей. Глазунья!

– Не хочешь ли себе такую же, мой мальчик?

Я его зову «мой мальчик» – он меня «дядей» или просто «дедом».

И еще вот что: мне не хотелось, чтоб набежал молодняк, молодые поселковские парни, которые не то чтобы меня травили, но уж точно дразнили, поддразнивали... Струков... Вавилов... Чтобы напакостить старикашке, они могли и мента для потехи кликнуть. Мол, опаснейший случай. Мол, разберись!.. Они и без повода, увидев меня, идущего по улице, начинали веселиться – они показывали пальцем на дачный забор, за которым скучала под яблоней молодая девица, и как бы поощряли:

– Давай-давай, дедок! Не робей!

– Дедок, она ждет!.. Давай прямо днем, чего ждать ночи?!

И девчонка за забором смеялась. И они хохотали.

Я не знаю, что они против меня имеют. (Кроме своей молодости.) Я слышал (они шли по улице), как Вавилов, кривя рот, говорил Струкову: «Меня раздражает этот смеющийся старик».

Не то напугало, что меня и впрямь могли поймать, потащить куда-то, ославить, – фиг им!.. Огорчило другое: прервалась моя тропинка к Ане. Там уже тупик. Не увидеть мне Аню больше. Так я чувствовал.

Я встретился с Петром Ивановичем. Я не собирался с ним обговаривать случившееся (это лишнее) – я собирался с ним посидеть на скамейке. Я хотел просто расслабиться. Мы с ним любим общаться на воздухе. Петр Иванович – мой здешний сверстник, тоже старикан, с которым мы дружим. С которым иной раз сидим вечером на скамейке, передавая друг другу бутылку с портвейном. (У нас есть и стаканы.) Петр Иванович немного странный. Но у меня уже не бывает нестранных сверстников.

Зато я слышал от него:

– Если что, я рядом. Я с тобой.

И началось... Разумеется, я мог упереться рогом и сказать, что ничего не было и что все это ее (Ани) ночной бред. Что это ее видения. Что «у красотки попросту глюки»!.. Я мог, непугливый старик, сказать им и третье, и пятое. Но тем определеннее я боялся, что она (Аня) теперь исчезнет. Уйдет из поля зрения. Уйдет как в никуда. Тут-то, на самом острие, и возникла мысль, что, если я им как бы поддамся, она (Аня) тоже, пожалуй, придет и станет меня уговаривать «лечь на обследование». Дрожащим в воздухе голосом...

Получилось неплохо, когда, опережая их нажим, я дал понять, что я не против. Олечка, по-солдатски, только-только закручивал серьезный, очень серьезный, уж такой немислимо серьезный разговор – а я как бы уже согласился на больницу.

Да хоть завтра.

Но для вида (и дела) я поломался.

– Какая еще психика! – кричал я. – Чушь! Я здоров. Я мужчина. Какое такое расстройство, если она мне очень понравилась, мой мальчик.

– Важно, дед, в твоём возрасте другое – важна взаимность чувства. Сам знаешь! Важно, чтобы и ты ей понравился.

– Неужели еще и это? – Я сердился, но больше дурачился. И ничуть не боялся, что игра зайдет далеко. Я не пугаюсь больниц. Я в них побывал. Как и большинству мужчин моего поколения, больница напоминает мне общагу и молодость. Больница напоминает былую жизнь. Это так тонизирует! Мы там молодеем, под окрики медсестер. (А потом там умираем.)

Да и неплохо, пожалуй, побывать в такой их привилегированной больничке – в полупсихушке. Нет, не дурдом. А только что-то вроде. Что-то интеллигентное. Чтобы мне, старому, еще и подстраховаться на подобный лунный случай впрямь. Жизнь есть жизнь, справочка не мешает, как подсказал Олег! (Эта суетная солдатская мысль тоже означилась. Суетные мысли, они же очень практичны!) Тем более что психологи, психиатры! Я запросто смогу им задать свой вопросик открыто. Относительно тяги к женщине в лунную ночь – пусть-ка запишут и проанализируют. Вопросик этот и впрямь щекотал! Философский вопросик. Лукавый.

– ...Анна Сергеевна.

– А?

– Анна Сергеевна тоже просит вас, дядя. Она вам советует... Хорошая больница... Если надо, она готова сама вам объяснить.

Этого и хотелось. Наконец-то.

– Анна Сергеевна?... Это Аня, что ли? – я переспросил.

– Аня.

Я закрутил слегка башкой. Ну, мол, посмотрим. (Такой жест. Зачем, мол, человеку, если всерьез подумать, психушка!) Не знаю, мол. Успеется!.. Психушка – дело хорошее, но лето – это лето. Знает ли он, мой мальчик, что пропустить, просвистать лето – грех?

– Знаю, знаю! – сердился на мое многословие он, недавний солдат. – Так что передать Анне Сергеевне?

Очень он спешил.

Я же гнул свое – мол, колеблюсь. Важно, конечно, побеседовать с ней, с Аней, очень важно – но...

У меня на это чутье: когда и какой из набегающих (из мне обещающих) вариантов выбрать – приметить уже сейчас!

И беседа состоялась. Я был зван по-светски – к пяти. Намекалось, что у них на даче в это промежуточное и провисающее время – чай. Вернее сказать, кофе. Мы пили кофе. Аня сразу и очень мило провела меня не к запахам кухни, а в гостиную... В этакую всю в спокойных обоях, салатovou гостиную. Мир во человецех.

За кофе я вполоборота мог видеть чуть приоткрытую дверь «лунной» спальни. (Днем это совсем другое, скучное место. Не узнать!) Мы беседовали. Аня заботливо, но и с улыбкой, с лукавинкой в голосе заливала мне про незадавшуюся любовь и что нас с ней развело само Время. (Старым психам наверняка же интересно про Время.) В принципе, я ей нравлюсь, очень нравлюсь, но уж так случилось... разный возраст! Вот и разошлись...

– Как корабли, – кивнул я.

Я поддакивал. Тоже улыбался. Мне главное, что такая красавица – и вот ведь рядом, беседует со мной. Как-кая! И голос, голос ее! И кофе был со сливками.

Разок меж нашей (с Аней) гостиной и спальней (тоже ведь отчасти *нашей*) на нейтральном пространстве возник муж. Шел на кухню. (Игорюнчик, так она его окликнула ночью.)

– Игорь. Мы беседуем. Мы в порядке... – Она отсылала его подальше. – Покопайся, пожалуйста, в моем компьютере.

Он кивнул. Видно, и хотел только глянуть, в порядке ли? – тиха ли беседа и не притиснул ли старикашка его доверчивую Аню прямо здесь, в гостиной, к обоям – к салатовой стенке?

Солидный муж. Ответственный. Ушел, а Аня в его теплый след тотчас мне сообщила, сбавив голос, что эту будущую для меня больничку (полупсихушку, приличную и интеллигентную вполне, вполне!) Игорь уже добыл. Расстарался, просидев полдня у телефона. Добыл. Достал. (Но где же термины новейших хватких лет?.. Я был удивлен.) Устроил. Добыл. Организовал. Нашел ход. И ни разу – *купил*.

Старомоден этот Игорюнчик?..

Кофе бодрит, но думаю, что мне (перед скорым путешествием в полупсихушку) дали желудевого, дедушку не возбуждать. Я и не возбудился. Чего уж тут. Я вдруг загрустил. Нет, не из-за желудевого, а из-за той луны в той спальне... Подумать только! Какой случай! Она могла проснуться уже моей?.. Эта увядшая, но еще сладкая мысль бросила меня посреди задушевной и гладкой нашей беседы в такую печаль, в такое горькое горе, что Аня забеспокоилась. И срочно опять шутить... Смеялась... Чудесно смеялась! И, живо стреляя глазками, нарочито серьезничала (ах, ах!.. в счет несостоявшейся нашей любви), а нет ли у меня схожего сынка лет тридцати – для нее? Или хоть скоровыросшего балбеса внука? Чтоб похож на меня лицом и чтоб был свободен вечером в ближайшую субботу. В театр сходить не с кем!

Но ведь так и задумывалось, чтобы согласиться на психушку только в конце концов и только по ее просьбе. Зато взамен и с ходу я обговорил, что она меня там навестит. Отчасти деликатное (и гротескное) продолжение нашего с Аней знакомства – отчасти мое условие. Это я талантливо придумал. Пришло же в голову угадать ту самую из житейских троп!

– И, конечно, без Игорюнчика, – сварливо заметил я, уже совершенно соглашаясь на обследование (и на то, что Аня там меня посетит).

А куда было деться?

Оба (Аня да плюс Игорюнчик) могли хоть сегодня, хоть завтра настрочить заявленьице и дать ему ход. Всю интеллигентскую перхоть сдуло бы как ветром. Олежка, племяш, мне так и сказал – соглашайтесь, дядя, пока просят. Пока без ментов. Пока без криков. Пока и больничку они вам обещают ласково и хорошую. Знаете ли, дядя, какая дорогушая больничка, ого-го!..

Обследование всего-то три недели, чем плохо, этакая, в сущности, профилактика здоровья дедушки.

Аня (по наводке Игорюнчика, конечно) тем еще мне польстила, что в деликатной полупсихушке, куда меня пристраивали, *сам Башалаев* ведет за большие деньги некоторых больных... ведет? или просто консультирует? – не уточнялось. Так что я (заодно с обследованием) могу и что-нибудь особо спросить у известного врача. У знаменитости.

Луна луной, но ведь той ночью у Ани (если честно) мне было опасно – я сидел почти у изголовья. Слышал ее дыхание. Я балдел, это верно. Но я волновался... и все, все, все понимал – что я в чужом доме, что возле чужой постели, возле чужой жены... Я не бесстрашный. Я и это понимал. (Быть бесстрашным шизом нехитро.) Но именно опаска, волнение и понимание ответа за приход к ней ночью (разве нет?) делали мое чувство к Ане человеческим... Спросить, что ли, и впрямь у Башалаева при случае: почему? Если я просто-напросто спятивший дедок, чего бы мне волноваться? И еще – почему луна?

Убеждая Олежку, Аня сильно перебирала в чувстве. (Но что я мог тогда возразить, сидя на толчке?)

– ...В какой-нибудь другой даче (но, конечно, не в нашей!) вашего дядю могут за вора счесть. И вы уже не заступитесь. Такое время. Люди сейчас так злы. Люди свирепы... А этим летом как раз уж-жасно воруют!

Красивая девчонка прихвастывала своей добротой и своей порядочностью. Своим заемным гуманизмом (явно от мужа). Она, тридцати лет от роду, выпендривалась, она почти пела, ах, ах, этот ее дрожащий в воздухе голос! – а мой Олежка, здоровенный, плечистый, только-только из «горячих точек» солдат, слабенько так, услужливо поддакивал:

– Ага. Ага... Понимаю.

Ей явно нравилось навязывать ему, что все мы люди, все мы человеки. Что нам надо жалеть стариков. Что неплохо бы жалеть и нищих... И бравый Олежка тут же:

– Ага. Ага.

А какая восхитительная (хотя и барская) интонация:

– Этим летом уж-жасно воруют!

– Я здесь мало что знаю. Я здесь редко, – произнес мой смущающийся племяш.

– Еще как воруют! А представьте, если ваш дядя что-нибудь, хоть мелкое... хоть книгу с собой прихватит. В руках у него окажется. Что тогда?..

– Книгу?

– Ну да. Он без конца морочит мне голову – читала ли я то? Читала это?.. Подойдет к нашему забору, штaketник прозрачный, поманит меня – и о чем хотите: о фигурном катании! Об инопланетянах!

– Иногда с ним болтаете?

– Запросто!.. Он милый старик. Разговариваем. Но, конечно, я и думать не думала увидеть его ночью. Рядом. Сидел такой тихий...

– Испугались?

– Не очень! У меня уже был случай в жизни, после которого я научилась не вопить и не кричать чуть что.

– Могли бы и завопить.

– Знаете, Олег... Он чуткий. Он почувствовал, что я проснулась. И стал тихо-тихо отодвигаться.

Так они говорили. А я задыхался сиренью.

2

В палате шикарно. Телевизора, правда, нет (он в коридоре), но все остальное чудо – палата ровно на двоих. (Петр Петрович Алабин ликовал.) И чисто! И старательно прибрано! Больничка из кино!.. Я ликовал. Люблю, когда вокруг хорошо.

Сосед, что напротив, – туповатый угрюмец. Он покосился, когда я вошел в палату, но тут же отвел глаза – я или не я, ему все равно. «Петр Петрович», – все же назвал я себя, на что мой сосед только вздохнул. Пуганый жизнью. Лет сорока.

– Шиз? – Это я тихонько, это я спросил у медсестры нашего этажа. У Раечки. – Шиз? – спросил и мотнул слегка башкой в сторону соседа.

– А вы кто? Не шиз?

– Нет.

– Интересно. – (С иронией.)

– Мы по другой части, Раечка, – лихо сказал я, весь из себя молодец.

– Это по какой?

Как-нибудь ей расскажем. Должен же (после пережитого) я чем-то занять воображение. Раечка молодая и толстенькая. Тридцатник откровенный. Глазки строгие, но живые. Я бы сказал, подмосковные. Главное – она сразу меня отличила.

И к тому же человек она здесь основной. Куда ни шагни – Раечка на виду. Только и слышно:

– Раечка!

А этаж небольшой. Этажик. Всего-то пять двухместных палат. (Не надорваться ей на работе.) И еда приличная. Повезло этой Раечке. Нам всем здесь повезло.

– Раечка-аа!..

Я же расхаживал по коридору в таком шикарно-спортивно-больничном халате. Теплый. Дивный на ощупь! Весь мой чувственный импульс, я думаю, был в этом халате. Это мог быть и боксерский халат. Халат отставного чемпиона по боксу. Или сытого министерского чиновника. Сказать проще, это был халат, в котором чувствуешь себя богатым и сильным! (У халата было некое *прошлое*. Это более всего пьянит стариков.) С красивым толстым шнуром, заменявшим пояс. Чудо, а не халат! (Аня и ее муж подбросили. Где теперь мой пиджачок! Где моя белая-белая рубашка с пристегивающимися уголками ворота!)

У меня и речь стала иной. Особенно для Раечки. Меня распирало! Я чувствовал себя поутру сытым бухарским котом. Я чувствовал себя блистательным (и лишь чуть пошловатым) малаховским Казановой. Я шел по коридору, пружиня ногами, – но одновременно, мысленно, я пританцовывал. Я давал распуститься витому шнуру-поясу и все его перевязывал. Вязал его играючи и очень ловко, хоть бы и в темноте!

В очередной вечер, за ужином (ужинаем в коридоре), я припозднился. Раечка чай гоняла – со старшей медсестрой. Однако Старшей уже как раз уходить домой.

Раечка сама спустя минуту под села рядом.

– Долго вы попиваете, Петр Петрович! Чаевник, а?

Голос строгий. Но свойский. С полуулыбкой женщины-заговорщицы. Мол, сейчас самое наше время. Мол, все *дневные* (врачи и Старшая) уже разошлись.

– Так по какой же вы части? И за какую немилость к нам попали?

Ответ напрашивался. Я засмеялся:

– Любовь.

За неспешным чаем, сидя вдвоем, напустить туману молодой медсестре нетрудно, – я лишь считался сколько-то с тем, что Рая из любопытства могла заглянуть в мое ДЕЛО загодя (еще вчера!).

И рассказал. И даже интересно получилось (мне тоже) в моем зачатном рассказе – в моей истории болезни, где я никакой не шиз, а настоящий мужчина (оплативший любовь *самим собой*). Старики легко придумывают. Это была всего лишь импровизация. Зато какая!

Получалось, я сам принес себя в жертву, когда муж застал нас *с ней* вдвоем. Получалось, сам и выставил себя подглядывающим шизоидным старикашкой. Хочешь не хочешь – надо же было выручить женщину в критическую минуту. (Жалко же вас, бабенок!) Надо или не надо уметь (мужчине!) принять вину на себя? Уметь смолчать. Дураком, шизом готов выглядеть, лишь бы замести *ее, женщины*, сладкий след...

Рассказывая, я лишь горделиво посмеивался. Сочувствия не искал. Жизнь как жизнь.

– Ее муж, что ли, вас застукал? – уточняла.

– Почти.

– А что дальше? А вы?.. А она?

– Я одинокий, стерплю, что мне! Но ее надо было как-то оберечь. У нее – семья.

Раечка заинтересовалась. Однако (неверующий белый халат!) свое любопытство притушила. Отхлебнула еще чаю из стакана. Карамелькой похрустела. И никакой спешки с распросами. (Да и куда пациент от нее денется, когда весь и надолго в ее руках.)

– Не очень-то сегодня свежий чаек! – заметила она бабе Глаше, толкавшей тележку с чайником и уже убиравшей посуду.

Но взяла еще стакан.

И подсмеялась. Кто это, мол, верит старикам в таких делах?.. У нее вон в третьей палате Козюнин! Старикашка не умолкает о своих подвигах в чужих постелях... С врачами молчок, осторожничает. Скромняга. Зато уж все остальные вокруг – медсестры, тетка на почте, уборщицы, даже баба Глаша – все мы его женщины! И каждую – каждую!.. шепотком переспрашивает насчет где-нибудь нескрипучей кровати.

Но разве у Козюнина такой халат? А толстый, витой свисающий пояс-шнур? (Эти ее смешочки над стариками задели меня за живое.) Ёрничает, хихикает, а ведь доверчива, как рыбка. И, конечно, любопытствует. (И слегка проверяет!)

– Ладно, Раечка. Чего там! – говорю. – Это всё ваши сплетняки коридорные. Это, извини, болтовня. Вот ты, – (я на «ты»), – завтра увидишь, какая это женщина!

– Увижу – и что?

– Увидишь – и примолкнешь. – (Я неспешно увязывал толстенный шнур.)

Я-то знал, что Аня (Анна, Анна Сергеевна) завтра, в субботу, приедет, как было оговорено загодя.

Муж Игорюнчик хотел было сам отвезти меня прямиком в эту больничку. Но я сказал – нет. Звонить – пусть звонит, пусть устраивает, договаривается, но ехать с ним – нет. Почему?.. А потому. Вот если бы она, Аня, меня отвезла, то-то бы угодила, пощекотала стариковское тщеславие. Чтобы я, мол, почувствовал, что вокруг одни друзья. И что мне хотят сделать добро – а не запереть наспех в психушку... Аня так Аня! Они до такой степени жаждали меня поскорее сбить, что не спорили ни минуты.

Но в назначенный день Аня была занята. Извинилась. И что-то там в ее голосе, робкое и нежное, скользнуло еще, оттенок! (Чего-то побаивалась – не меня ли рядышком, когда она за рулем?) В итоге сошлись на такси. Аня тотчас заказала. Не я же. Но зато, садясь в такси, тут-то я и оговорил надбавку. На милейших людях как не поездить!.. Я выпросил, чтобы не когда-нибудь, а в ближайшую же субботу Аня меня там навестила.

И вот она – в субботу после завтрака! Где-то в одиннадцать! Молодая!.. Сама за рулем!

Все как надо. (Выспалась на даче, утром чашечка кофе и не спеша, по хорошей погоде, красивая – такой добралась Аня к нам из далекого загорода.) Раечка не удовлетворилась под-

глядываю из окна. Раечка направилась вроде бы куда-то по делу (однако шагала со мной, встречающим, бок о бок).

Спустились с этажа вниз, Раечка вся уже на взводе и как-то сурово смолкшая. Зато и увидела Раечка всё – больше, чем всё.

– Ах! – сказала. Ахнула.

И каждую вторую секунду Раечка (со мной рядом) оправляла свой мятый сестринский халат.

Красавица женщина вышла к нам из машины. В изящном летнем платье. И чудесным летним утром! Все как надо. С легкой сумочкой через плечо.

Великолепные длинные ноги. И уверенная, слепящая улыбка (улыбка поверх всей этой зримой нам красоты). Раечку могло убить.

Я с ходу рванул туда – вперед к Ане. Мы легко, нежно поцеловались. То есть это я при встрече решительно потянулся к Анне лицом – а она ко мне. Да, она тоже. С усилившейся, чуть ироничной улыбкой (но и не отвергая) она качнулась лицом и улыбчивыми губами в мою сторону. Щедрая! Секунда – и наше объятие распалось.

Секунда – это немало. Мне и моей секунде – завидовали. И шизы, и персонал. (На нас оглядывались.) Мы походили с Аней по больничному саду. Были вразброс и скамейки, но мы не сели. Мы просто ходили.

Я повторял – неплохая, мол, больница, Аня, совсем неплохая, и дело свое вроде бы здесь знают. Видал больницы и похуже. Да, врачи мной занялись... Да, да, анализы. Что-то еще я бляял, но плохо помню. Был как пьяный. Был с ней. Был совершенно счастлив. И все вдруг кончилось... Ушла.

Зато Раечке (по ее алчной просьбе) я всю эту садово-тропиночную невнятицу изложил очень даже внятно – как некий важный наш с Аней разговор. Забавно вышло! Вроде как мы с Аней продолжали биться за наше правое дело. «За наше чувство», – сказал я, и Раечка (я видел) слегка затрепетала. Ее интересовала теперь всякая подробность. В третий раз она переспрашивала, как муж вдруг вернулся на дачу без машины, пешком, вернулся внезапно, и как было тогда с Аней и со мной у самой уже постели! И ведь ночью!.. Нет, муж не успокоился, когда увидел, что я староват. И только когда я признался, что псих... Мало ли какой больной проникнет к вам на дачу летней лунной ночью.

Раечка млела.

– Да уж, – согласилась. – За такую красавицу и в тюрьму сядешь!

Вечером чай вдвоем. Сначала я подзадержался (это легко), оставшись один за больничным столом. Скоро и Раечка подгрела туда мягким веслом. «Да, – повторяла за чаем. – За такую красавицу...» Нашему общению едва не помешал мой шиз: тоже подошел и норовил сесть рядом. Бедолага стоял около меня с тарелкой. Если мы делим с тобой палату, почему бы, мол, нам и не ужинать вместе?

Я покачал головой: нет! нет!.. Пришлось быть жестким. А шизы здесь нежные. Трогательные. (Я уже заметил парочку евших из одной тарелки. Складывали кашу из двух в одну – и ели.)

– Но как же дальше? – волновалась за Аню и за меня Раечка, она уже была «с нами». Была участницей большой любви.

Я объяснял: мы с Аней будем видаться здесь хотя бы кратко. Но это сложно, сложно! Муж – большая шишка. Богатый...

– Богатый? – ахнула Раечка.

– Да.

И ничего, мол, в запасе – ничего лучшего, чем эта рискованная игра с больницей, у нас с Аней пока что нет. Но сгодится ли это хотя бы еще на раз? – дурил я Раечке голову. Поможет ли в будущем? Если, скажем, он опять нас на даче застукает – я опять в психушку?

– Как же она рискует!.. Она такая... такая...

У Раечки не было слов.

Зато в ее глазах – было. Я заметил. Там вспыхивали и гасли настороженные чувственные огоньки. Эти огоньки были мне.

Я сказал:

– Бывает по-разному, Рая.

– Что бывает?

Эти чувственные огоньки в ее глазах уже подсказывали. Огоньки уже ждали.

– Что, что бывает?

И тогда слова, как солдаты, перешли границу:

– Бывает же, что мужчина нравится не красотой, не молодостью.

– А чем?

Я отхлебнул чаю и помолчал.

Она тоже отхлебнула чаю, но как-то заторопилась. Молодая! Отхлебнула еще. И еще.

– А чем нравится?.. Умом, что ли? Деньгами?

– Не обязательно. Бывает, что и ум ни при чем, и деньги ни при чем.

– А как же?

Я еще помолчал.

И вот тут она стала медленно-медленно краснеть.

– Не умом и не деньгами, – повторил я. – Однако же факт...

– Так чем же? – спросила она настойчивее. Она даже перебила. (Чувственные огоньки погасли. Зато в голосе – накат честной прямоты и грубоватого любопытства.)

А я только развязывал и завязывал на поясе толстый шнур.

Так и сидели вдвоем. Вечер. Мужчина и женщина, неостребованные, как на острове. (Жизнь где-то. Жизнь от нас далеко-далеко за больничными стенами.) Впереди уйма времени. А вокруг опустевшие унылые столики.

Кто-то зашаркал шлепанцами в глубине больничного коридора.

– Раечка... Давайте-ка о другом. Сегодня меня ваш Башалаев достал.

– О-о! – Раечка (зная, что раскраснелась) охотно сошла с шаткой тропы в сторону. – Наш умеет. Гений. Кого хочешь достанет!

– Он всегда такой?

Ничуть он меня не достал – он мне понравился, этот их Башалаев. *Гений с пронзительным взглядом*, так они его меж собой называли. Ярлычок, как водится, лстив. Но что-то настоящее, похоже, там есть. И показалось (поверилось), что этот *с взглядом* не станет лгать или вредить старику (мне) за просто так.

У нас (с Анной и ее мужем) была джентльменская договоренность, что сам я пожалуйюсь врачам на нервишки, ночной недосып, возрастную сварливость – вот и все, не более.

Башалаев, однако, скривил рот:

– Этак мы недалеко уедем. – И с места в галоп стал въедливо, длинно, а то и нудно расспрашивать. Давай, мол, старик, выкладывай... Еще и посмеивался. Жизнь долгая – вот, мол, и спрос долгий. Все это у него, у Башалаева в кабинете.

С нами третьим трудился врач Жгутов, молодой, крепкий, с густой черной шевелюрой. Этот жгучий Жгутов схватывал с полуслова: обрабатывал и с лёту вносил в компьютер наши вопрос – ответ, вопрос – ответ...

Наконец из меня пар пошел.

– Всё? – спросил Жгутов (то ли меня, то ли своего Башалаева).

Они перемигнулись, и молодой поставил первую точку. Я увидел, что от них тоже шел пар. Молодой весь взмок. А Башалаев закурил (первую за три часа).

Вернувшись в палату, я от усталости пал на кровать. Я просто рухнул. Отчего шиз, мой сосед, взволновался и то подходил ко мне, распластанному, поближе, то стремительно удалялся к дверям. При этом он что-то ловил руками высоко в воздухе. Нет, он ничего не ловил. Он страдал за меня. (За соседа. За чужого ему старика.)

Не было даже сил прогнать его в его угол, так истоцил спрос! Ни движения. Ни слова. Скосив полузакрытые глаза, я лежал и только следил за страдальческой пантомимой. А шиз продолжал немо заламывать тонкие руки, топчась теперь на месте. Мучительно раскачивался туда-сюда. Не знал, как помочь.

«Из темной воды прошлого», как пошучивал «рыбак» Жгутов, они теперь вылавливали, выуживали подробности моей жизни. Я, увы, плоховато помнил былых моих жен. (Путал имена.) Обмолвки профессору не нравились, да и компьютер нет-нет попискивал, протестуя. Им все казалось, я скрытничаю. А я не знал, чем им помочь.

Я рассказал, и они тотчас (прямо-таки впились) ухватились за случайную и безобразную драку в загородном ночном автобусе, в которую я недавно ввязался. Но выяснилось, что я никого не побил. И что меня, в общем, не побили. Меня и еще двоих, нас попросту выбросили на ходу. В снег. Нет, эти двое выброшенных были мне никто. Нас выбрасывали постепенно, время от времени, так что мы оказались метрах в ста друг от друга. Мы даже не познакомились.

Ловили «рыбаки» и с другого берега. Очень нацеленно они выбирали из своих сетей мои сны. Любая небывальщина во сне (мне объясняли) имеет отношение к былым житейским промашкам, ошибкам! Однако и сны мои на просвет, как и мои жены, оказались бесхитростны, милы и ничтожны, и потому оба «рыбака» как ни перемигивались, а заскучали. Улов был не густ.

Тем не менее каждый раз, прежде чем вогнать в компьютер очередное нехитрое мое признание, молодой Жгутов ласково-иронично меня заклинал:

– Пациент должен говорить правду, и исключительно правду.

Башалаев, посверливая глазами, добавлял:

– Если он хочет, чтобы ему и его психике помогли.

За уши мне (к вискам) Жгутов прицепил лейкопластырем датчики, меня посадили на стул в темной комнате, пустили микротоки, и – заново вопросы *про жен, только вы уж, пожалуйста, их сегодня не путайте*. Какая-то их иезуитская сверххитрость была. (Не спутать жен в темноте.) С Галей, как в темноте обнаружилось, я жил раньше, чем с Машей. *А попиwала, не путайте, не Маша, а Марина*. Микротоки должны были помочь мне не завираться, а моей психике выйти на чистую свежую воду – микротоки шли честно туда-обратно, как не понять, дело важное! Но у меня уже ум заходил за разум. И не нравилось, что каждый раз с меня стягивали мой шикарный халат. (В красивой одежде пациент особенно лжив. Не знал!)

Как-то, плотно зашторив окна и ни о чем не предупредив, привесили датчик к члену – и опять же в темноте спрашивали, спрашивали... Затея, возможно, неглупая – микротоки сами знают, куда проникнуть. Я уже не вникал. Я расслабился. Пусть их!.. На процедуру, что с зашторенными окнами, просилась ассистировать Раечка, хотела помочь, но ее изгнали. (Ее при мне и отчитали. Датчик на член привешивают очень ответственно и всегда без женщин. Чтобы пейшента не провоцировать.)

Они нет-нет и произносили «пациент» по-английски – пейшент.

Увешанный датчиками и мечущимися туда-сюда микротокамаи, я был озабочен, пожалуй, только одним: Аня... Она не может оставить меня здесь одного. Приедет ли она глянуть на старика хотя бы еще раз? Или хотя бы забрать меня отсюда...

Раечка, похоже, заскучала. А тут ей и случай. Мне прислали обновки – хорошее легкое белье. И тапки меховые, тигровые, теплые, коридором идти и тихо пришаркивать. «Твоя привезла», – шепнула мне Раечка. Отдавая должное чужой красоте, она звала Аню уважительным полным именем – приехала *Анна* рано-рано утром. И уехала *Анна*, не захотев меня будить.

И сразу же Раечка перешла на нормальный голос нормальной медсестры:

– Пошли мыться. Быстро.

– Это зачем?

– Как?!. Неужели такой в чистое белье полезешь? Ты чё! Ты чё! – Какой «такой», Раечка означила интонацией. И добавила резче: – Пошли!

У нее со всеми с какой-то минуты командный тон и на «ты». Что хочет, то и велит. И еще, как хлыст, это простецкое «Ты чё!». (А я был огорчен, что разминулся с Аней. Тапки привезла!..) Послушный, я шел, плелся за Раечкой следом – она, командирша, выступала впереди белохалатным колобком. У нее зрела своя мысль. Еще и крутила ключи от душевой на пальце. Возможно, загодя хихикала.

Когда подходили, я заметил, что и она с полотенцем. Она объяснила, что присмотр и что заодно она тоже помоеется.

– А что такого? Нормально... Ты же пейшент.

Дело в том, что помывочная для нас, придурков и пейшентов, была, прямо скажем, прохладная. И близкая к слепому окну. (Замазанному белилами.) А вот рядом, сбоку от нашей помывочной – сразу у входа и направо, была совсем другая душевая. Эта тепленькая. Уютная. С отдельными небольшими отсеками. Она отделялась от нашей душевой (и от нас) полупрозрачной стенкой. Как бы для персонала, для врачей, сестер. Ну и для присмотра за нами. А при случае разделяла, конечно, мужчин и женщин.

Милая Раечка собиралась не просто выставить меня в холодке голым себе на обозрение, но еще и собой поддразнить. Забава! Спровоцировать пейшента на волнение (в чем ей отказали, когда она рвалась лепить мне в темноте датчик). Посмотрим, мол, что с пейшентом станет. Ау, дедок-говорун. Голая – и совсем неподалеку!..

Я было осердился, а потом рассмеялся. Я вдруг повеселел. Задумка медсестры была достойна ее врачей. Не лучше, но и, ей-ей, не намного хуже микротоков и нудных тестов Жгутова – Башалаева!

К тому же (тест на тест) затея, если я не зазеваюсь, обещала быть взаимной... Ну пусть, пусть! Ситуация незамысловата. Будем-ка мыться. И после чистого душа наденем-ка на себя чистое, легкое белье. Белье, пахнущее свежестью и текстильной новизной (я уже такое забыл). Я пустил воду погорячее! Задвигал по телу намыленной и ласковой мочалкой. Надраивал плечи и бока. Ах, вода-водица! Я и Раечку, признаться, забыл. Душевая сверкала чистотой, белизной (и была наудачу теплая в этот день) – чудо! А Раечка разделась. За полупрозрачной перегородкой и всего-то в трех скользких шагах. Она напевала все громче. Принять душ и медсестре в радость. Но я, счастливый старик, весь в водных струях, о ней сейчас не помнил. Я блаженствовал. Как вдруг помог случай. Погас свет.

Раечка вскрикнула в испуге:

– Что это?

Она только-только разделась. Лучше (для теста) и быть не могло. Я, очнувшись, ходко прошел туда. (Теперь я для куража напевал. В темноте.) Шел, осторожно оскальзываясь на мокром полу. Шел мелким-мелким шагом. Уже трогая ее плечи, сказал коварным стариковским шепотком – *не надо и некого*, мол, здесь, Раечка, бояться. Я успокаивал, это ведь как наш долг. Женщины пугливы. Да и темно было по-настоящему. Черно. Мы ослепли.

– Что это? Что это? – повторяла она в растерянности. А это «что» был... я. Минута – и я ей уже вставил. На их топчанчике. Как следует вставил, хотя и бережно. (А что еще мог Петр Петрович? Что еще он мог сделать, кроме того единственного, что легко сделать в темноте на ощупь.) *И ведь у них, за перегородкой, было так тепло!* Топчанчик был сух, душ Рая еще не включила.

Но прошелся я раз пять-шесть. Сколько успел. Пять-шесть движений, пять-шесть секунд, не больше. Может быть, всего-то четыре, не так это важно. Важно, что вдруг врубили свет и захлопали двери... Я птицей взлетел и метнулся в свой край, в свой отсек для придурков. И вовремя. В дверях душевой возник врач Жгутов – молодой, перспективный, строго смотрел на меня.

А я (в мою пользу подробность) уже стоял на самом входе – из нашего прохладного отсека в их, теплый.

Стоял как поодаль. Стоял осторожно на скользком полу. Вроде как любопытствующий шиз заглядывает к собирающейся освежиться душем медсестре.

– Что это вы тут?! – повысил голос жгучий Жгутов.

Я развел руками:

– Я... я же пейшент.

Он продолжал высоким криком:

– А это что?! – и указывал рукой мне в пах. На мой стоящий.

Пациент должен говорить правду, и исключительно правду. Подумав, я так и сказал:

– Похоже, это член.

Он строго мне заметил:

– Слишком похоже.

3

Меня вызвал к себе Башалаев. (Знак конца. Истекали мои три недели.) Уже с утра Башалаев был взмылен опросом и выпиской. Он обработал в путь-дорогу пять шизов. Это много. Меня, шестого, он встретил как-то весело и слишком ласково.

Я, войдя в кабинет, тоже для вида улыбался, улыбался вовсю. На деле я неотвязно думал о Рае.

Отношения с женщиной в больнице возникают по-особому, но и ценятся особой, дорогой ценой. (А ведь Башалаев, если позвал, мог выписать меня сегодня же.) Я и Раечка никак не умели подыскать себе уединенного места. Время поджимало. Это как незабитый пенальти. Но если не в душевой, то где?.. В душевой мы теперь панически боялись. Она боялась. (Я бы снес. В конце концов, я придурок.)

Он сразу поддел меня за главное – а я не стал мяться и мямлить. Ответил ему честно. Так, мол, и так: чем больше мне нравится молодая женщина, тем острее возникает у меня ночное желание.

– У меня тоже, – подмигнул Башалаев. А он тоже сед, тех же, что и я, счастливых пенсионных годков. (Старый мудила. Меня удивила эта его несерьезность в серьезном, как я считал, разговоре.)

Я пояснил кратко: желание... и еще я как бы слышу некий ее ночной зов. Зов к себе. Я чувствую через расстояние, что женщина спит... но и не спит.

– Если высокая луна... – начал я.

А он тотчас подхватил:

– Высокая-высокая?

Опять смеялся! Ласковости в его взгляде было уже поменьше. Он буравил меня глазами. Зазвонил телефон.

И тут случилось вот что. Башалаев долго-долго смотрел на аппарат – телефон звонил, пока не иссяк. Затем гений уставился своим взглядом в какую-то далекую угловую точку. (Вот у кого перенял этот взгляд мой сосед-шиз.) Лицо Башалаева стало серым. В морщинах легли тени. Устал.

Я даже подумал, не уйти ли мне. Он сегодня явно выдохся. Он в отключке. Может, он так спит?

Я даже привстал.

Но он тотчас вскинул на меня глаза:

– А! – проговорил он, едва я шевельнулся на стуле. – Высокая-высокая луна! Летняя жаркая ночь!

Он словно и впрямь пробудился. (И вспомнил про меня, как-никак пациента.) Его страстное взрывное начало (для меня внезапно) вдруг вышло наружу – выплеснулось! Теперь он не говорил, а выкрикивал. Отрывисто:

– Как не понять... Как не понять! Высокая луна-лунища. И бабеч спящий. Сидите, сидите, Петр Петрович! И перистые облака. Да?..

При слове «перистые» он нервно хохотнул:

– Перистые! Перистые при высокой луне, Петр Петрович! Они особенны! Вы, конечно, замечали, что в такую ночь луна захватывает полнеба! Полнеба... однако же оставляя место для нежных перистых облаков! Но как можно в такую ночь спать? Или пить? Или жрать?.. Водка! Колбаса! Телевизор! Невозможно! Невыносимо! Омерзительно! Чего стоит тогда вся жизнь? Рупь рваный? Кусок гывна?

Он так и выговорил с дрожью: «Г-гг-гывна!» (Я ошеломленно сидел напротив. Помалкивал.)

– Да, Петр Петрович! Да, да! Думаете, ваш врач про луну ничего не знает?! Ха-ха! В мире врачей та же суета и та же корысть! Те же уловки! Обкрадыванье друга-приятеля! Тайное расхищение чужих замыслов... От людишек задыхаешься! Все мысли о ста долларах! Ста долларах сверх, которые тебе вчера выдали, в обход налога, по-черному! Душа, Петр Петрович! Душа начинает вонять! И вдруг над этой вонью – небо и высокая луна! И... и... и вдруг... женщина. Спит в лунном свете! Полунагая! Бабец! Бабец, Петр Петрович, рубенсовский! Вся теплая. Даная! Живот ее теплый! Только руку протянуть, а?

Столь же резко оборвав речь, он пронзительным взглядом уставился теперь прямо в меня. Гения немного трясло, но глаза! Глаза никак не хотели потерять свою сверлящую силу и направленность. Я чувствовал себя под легким кайфом гипноза. Мне стало славно! Мне даже захотелось на халяву спянуть по сильнее.

Но от навалившейся сегодняшней усталости (или, может, не желая выжечь до дна мои зрачки) Башалаев сам закрыл себе глаза. Он положил на свои пронзительные глаза ладони. Прикрыл лицо. И так сидел...

Сидел с ладонями на лице минуты три.

Сидел пять минут. Ни слова.

Двое за столом (один напротив другого), мы тихо-тихо сидели – два старика. (Старик сильно уставший – и старик сильно ошарашенный.) Наконец он отнял ладони, лицо открылось. И засмеялся:

– Ладно. Что тут у вас.

И как ни в чем не бывало стал листать мое ДЕЛО.

– Вот, – повторял он. – Вот... Вот...

Долистав до конца (он ничуть не спешил), ожившим ровным голосом Башалаев констатировал, что, в общем, у меня «все в норме, не считая мелочовки».

Он даже фыркнул и перешел на «ты» – мол, все это семечки, старик. Мелочовка. Езжай домой, старик. Отклонения есть кой-какие. Возраст есть кой-какой, верно?.. Тут он, извинившись, понес сколько-то латинской премудрости.

Трехнедельные обследования именно *это* (эту премудрость) подтвердили. Он уверен. Он, великий Башалаев, так и записал своей рукой в моем ДЕЛЕ. Живи, старик. Любишься на свою луну и на перистые. Поосторожней все-таки с бабцом. И не кашляй. *Так что все совпадает...*

– Что совпадает? – я переспросил.

– Да вам это ни к чему. Живите. Живите – и все. Вам знать не обязательно.

Опять перешел на «вы». Разговор заканчивался как официальный. Профессор и пейшент.

– Как это – не обязательно? Как...

– Да так.

Я почувствовал досаду. (Я не вполне доверяю гениям.) Хотелось знать, что именно написал он там своей рукой.

Однако в дверь уже ввалился врач Жгутов, глазищи горят – у него свои заботы. Поважнее всех иных!

Жгутов возмутился: его на дежурствах разделили с медсестрой Гривковой (Раечкой) – а ведь он сработался, привык...

Башалаев ему кивнул – садись, садись! У нас и, помимо твоих дежурств, разговор есть. А мне гений показал глазами на дверь:

– Вы свободны.

«Луна!.. Бабец!.. Даная!..» – как легко все-таки и как быстро и точно было им прочитано. Крикливо, сумбурно, едко – но как в самую точку была угадана завораживающая меня ночная красота. А ритм! (Так, так именно, такими ударами и колотилось при высокой луне старое сердце.)

А это осторожное ночное присутствие – на скосе неба – двух-трех вытянутых в нитку облаков. Когда высота луны их подсвечивает...

– Перистые, – сказал я себе. – Перистые, Петр Петрович!

И еще вот что.

– Старик старику мало что скажет нового. Вы слышите, Петр Петрович?.. – вдруг отвлекся Башалаев. (Как бы в сторону разговора.) – Знание у нас с вами одно. Каким бы знаменитым, каким бы распахиаатром я ни был, я вас не удивлю. Конечно, я могу напустить туману...

Он засмеялся:

– Час целый говорить про Юнга, а?.. Да хоть про Бодрийяра!

Он подумал:

– Но вот что я действительно могу... Я могу вас свести с Недоплёсовым. Молодой врач. Имя уже на слуху... Его ценят в Германии... А?

Я сказал:

– Как-то фамилия у него не очень.

– Ага. Шутите. Оживились! – Он опять засмеялся. – Это в точку. Как только завистники его не склоняют... Врачи, знаете ли, тоже бывают завистливы... Недоплюев... Недоплясов...

Он взял ручку и что-то записал на календаре.

– Не-до-плё-сов... Во всяком случае, Петр Петрович, он вас развлечет.

Башалаев крутил в пальцах авторучку. Думал, что бы еще такое сказать... старик старику.

– Психиатры копают, увы, на неглубоком уровне. Ах, Петр Петрович! Мы так мало знаем... И совсем мало знаем о стариках... Вот в 93-м году... Кризис. Танки обстреливают Белый дом. Идет известное противостояние. А сбоку, именно сбоку собралась толпа стариков со всей Москвы... Никакой политики! Они совершенно нейтральны... Сзади стали (к счастью, сзади) стреляющих танков. Просто стояли и глазели. Ротозеи. И ведь напуганное старичье пришло не сговариваясь... Никто их не звал, никто не организовывал. Сами пришли... И сбились там в нейтральную кучу. Зачем?

Возможно, мое лицо напряглось. Или как-то по-иному меня выдало. Бывает... Мутноватые стариковские стершиеся (как у козла) глаза вдруг начинают поблескивать. Зрачки молодеют!

Он, конечно, заметил:

– Вы с ними, часом, не были, Петр Петрович?

Я колебался с ответом. Дело в том, что я этих стариков видел, видел! (Так получилось.) Но с ними я не был... Это точно.

– Нет.

– Долго с ответом. – Он улыбается. – Для врача-психиатра ваша задержка с ответом была бесконечной.

Я только пожал плечами: бывает... Я и сам не ждал запинки. Не ждал, что меня так тормознет – придержит всколыхнувшейся памятью о том танковом дне. Бывает.

...Я попытался вызнать о заключении Башалаева у старшей медсестры. (Любит лесть. Стареющая строгая женщина.) Но сразу слов не нашел – а она, вдруг хищно на меня глянув (на легкую добычу), велела, чтобы я помогал ей наклеивать ярлыки на оранжевые бутылочки.

Два шиза ей уже помогали. Бутылочки были веселые, с мочой, их почему-то следовало передвигать с великой осторожностью. Чуть что, и придурки вопили мне в оба уха: «Не вспенивай!..» Больным нравится всякое новое для них энергичное слово. Это тоже тест. Это важный тест. Я прошел его с легкостью. Я знай наклеивал молча ярлычки на оранжевые бока бутылок.

Старшая в мой край тоже пофыркивала: «Мягче, мягче! Не вспенивайте... А что, собственно, Петр Петрович, вы хотели прочитать в вашем ДЕЛЕ?» – спросила она вдруг прямо (как только желтые бутылки закончились). И еще шепотком, нет-нет, Петр Петрович, *бумага серьезная* – бумагу покажут (и выдадут) тем, кто просил сделать (и кто оплатил) обследование. А кто за вас просил?.. Она полистала подручную книжицу приема и коротко (и совсем тихо) сбросила мне фамилию с именем-отчеством. Само собой, это был муж Ани.

Я ушел, а Старшая озабоченно кричала вслед:

– Не забудьте помыть руки.

Впрочем, опыт чужих жизней говорил: что тебе ни напишут в психушке – все лучше, чем пустота. Сотню раз по жизни я это слышал. Тому или другому, людям здорово повезло из-за нескольких плохо разборчивых латинских слов. Написанные (на чистом и белом), эти латинские каракули-слова вдруг помогали. Учили услышать людишкино горе. Получить пенсию побольше. Не дать с ходу гнать или преследовать. И всякую иную, пусть малую или даже нищенскую, но льготу... Человека вдруг по-человечески освобождали. Так я себя уговаривал. Но по сердцу скребло.

Тут мой взгляд упал на соседа.

Шиз сидел на своей кровати, у противоположной стены, и взволнованно (почему-то) смотрел вверх. А я не понимал. Да и как понять? Он подпер голову рукой и неотрывно смотрел – пялился в самый угол нашего общего с ним потолка. Но там не было ни паучка. Ни даже чуть дышащей паутинки. Ни хрена. Белый и пустой... На этом белом и пустом ничего не было написано! Зато о нем самом (о моем соседе), наверное, страниц понаписали! – подумал я. А прочесть-то не дали!

Это успокоило. Есть и похуже меня – и попечальнее. Он и знать не знает, как хитро (и подчас коварно) та латинская писанина соотносится с ним и с его земной долей. С его пугливой душой... Бедный!

Свое прочесть я мог попытаться еще раз. (Через Раечку.)

Хорошо, что она теперь не в смену с этим жгучим Жгутовым. Конечно, врач обязательно трахает медсестру, если она не замужем. Это я знал. Это получается само собой. Ничего хитрого. Но если их разлучили на дежурствах – их разлучило Время, а значит, у меня стойкий шанс.

Нас с ней грубо спугнули, это же факт! Наше с ней нечаянное и стремительное начало в душевой, в полной тьме, на их сухоньком (кожзаменитель), потрескивающем от трения телами топчанчике, не могло быть забыто. (Топчанчик, мне казалось, искрился.) Меня и Раю, такова жизнь, обязывало к продолжению, вот только где?

А шиз смотрел себе вверх!..

– Есть одно дело, – сказал я ему. Ему бы сейчас из палаты уйти. Уйти – и ни в коем случае скоро не возвращаться (а там я быстро кликну Раю).

«Скоро» – это не передать. Но еще сложнее передать «не скоро». Слова оказались для моего соседа непосильными (и не имели жеста). Часов же ни у него, ни у меня не было. Счастливые часов не носят!

Шиз только невнятно улыбался. Не понимал – и украдкой посматривал в белый потолок. Боялся потерять там своего невидимого паучка. Боялся уйти из палаты.

Я за руку его отвел, ласково оттащил от магического угла и объяснил снова... Нет, он не выписывается сегодня из больницы. Нет, он не возвращается домой. Нет, нет, его никто

сегодня дома не ждет. (Кому мы нужны!) Он – остается здесь... Эта кровать, эта палата и этот нравящийся ему угол потолка – остаются ему навсегда. Его собственность, его радость! Его, в конце концов, личный трофей за долгие горькие годы.

Он понимающе замычал. И, повернув лицо, вновь восхищенно уставился в тот угол. Там сходились вечные три линии – длина, ширина и высота. Чудо!

– Но ты должен уйти. Уйти. Уйти, – повторял я.

Я бился с полчаса, проклятый угол!

Перехватить «угловой» взгляд и отвлечь (взгляд на меня) удалось лишь случайно – яркой пачкой сигарет. Курить в палате нельзя, я только вынимал сигареты и снова прятал. Но в легком бешенстве (слишком долго втолковывал) я машинально мял, терзал эту пачку – и шиз вдруг прикипел к ней глазами.

Ага! Я тотчас усилил позицию!.. У шиза был здешний приятель – рыженький тощий шиз. Они с некоторых пор сидели за обеденным столом вместе. А то и прогуливались по коридору. Милейшее развлечение начинающих дружбу шизов: ходить по коридору парой и молчать.

– Да, да, да... твой приятель! Он самый. Рыженький! Ты уйдешь, – (жест в сторону двери!), – и вы оба побудете какое-то время вместе. Да, да, вам можно вместе пойти в курилку. Покурите там... Потом погуляете.

И я (показательно-поощрительно) дал ему сигарету. Мне думалось, что это весьма умно. Что это кстати. Но мне и присниться не мог бы дальнейший ход его логики!

Уйти он ушел, но тут же привел ко мне зачем-то своего рыжего. Может быть, двоих выставить проще?.. Однако нет – выяснилось, что теперь они оба меня не понимают. Оба не отрывали глаз от пачки с сигаретами, так что я (уже как-то вяло) выдал и рыженькому его сигарету. Мой, не зазевавшись, тоже себе прихватил.

Озленный, я высказался напрямую: «Парни. Мужики. Вам по тридцать-сорок лет. Ну что тут умного или сложного?.. Вы уже должны это понимать. Я хочу оттрахать медсестру...» Я объяснял, я опустил до жестов, при этом, возможно, я слишком резко взмахивал рукой. А в руке треклятая яркая пачка.

Я выпроводил их в дверь: «Вы должны уйти. Вы должны час-полтора быть где-то. В твоей, – (это я рыжему), – палате. Да, да, хоть в любой другой палате! У вас же есть приятели. Да, да, еще лучше – в курилке!» И я для урока сурово постучал костяшкой пальца по двери, которую запру.

Каша жизни в их головах вроде бы забурлила. Их лица просветлели. Про дверь оба поняли. Про курилку тоже. И вышли. И вскоре же вернулись с третьим идиотом, который, едва войдя, уставился на мою пачку с сигаретами.

Я завопил на них. Всех в шею! Вон! Вы должны уйти надолго!.. Я даже затопал ногами. Но в конце концов сдержал гнев. (Считал до тридцати. Считал до пятидесяти.) Еще разок терпеливейше я все объяснил – и дал им по новой сигарете. Мой сосед уже заработал три – куда он их складывал? Они прямо-таки исчезали. А это были хорошие сигареты. Дорогущие. Такие, конечно, не курю. Пачка была от Ани («Все твоя Анна!..»), вместе с бельем. Чтобы белье, домыслила вслух Рая, продымилось *повкуснее*.

– Понял, теперь-то понял! – заверил меня мой сосед.

И все трое, смекалистые, согласно закивали головами – поняли, теперь поняли! Мы поняли. Мы уходим... Ушли и, конечно, вернулись с четвертым.

Я рассмеялся, отдав им последнее. Этот четвертый шиз так кротко смотрел! Как ему не дать сигаретку!.. Я каждому выдал. Зато моему (вместо) я отдал, слегка злорадствуя, опустевшую пачку – мол, сам видишь, больше нет. *Тебе-то и не хватило*. Финиш!.. Ладно, ребята. Точка. Живите как хотите. Живите где хотите. Я уже ничего не хотел. (Хотел отдохнуть от затянувшейся благотворительной деятельности.) Я бросился на кровать. Головой в подушку.

Забыться – и заснуть. Что там сейчас Рая?.. Должно быть, трудится. Вся в сестринских своих заботах. Уколы! Неужто она меня еще ждет? (Сгоряча я ей пообещал, что скоро, что вот-вот организую наше непростое счастье.)

Часок я лежал в нелепой дреме. Но постепенно стало кое-что приходить в голову. Мысли мои (обе, любовная и пациентская) вдруг стали сближаться. Мыслишки (обе) как-то ловко срастались в одно. Обе гляделись теперь дерзко, красиво!

Мысль «я и Раиса», а к ней в пару клеилась пациентская мысль – «я и ординаторская». (В ординаторской с ведома Раисы я запросто смог бы прочесть скрываемый от меня диагноз.) Объединение двух мыслей шло полным ходом уже сейчас, но объединение двух интимных дел могло произойти, разумеется, только ночью. (Я поглядывал в тот магический угол на нашем потолке. Он помогал думать. Что-то в нем таилось?) Ночь! ночь! – так возник импульс открытия. Еще бы старику немного удачи и высокую луну.

А меж тем мой сосед исчез – и не появлялся. Но я знал, где он. Мой трудный товарищ бродил сейчас по палатам, показывая там украдкой пустую пачку сигарет. (Зазывая весь доверчивый шизоидный народец ко мне – на поживу.)

Раечка нещадно колола их, обламывая ампулы одну за одной. Веселый ломкий треск слышался уже на подходе. Я заглянул. Трое со спущенными штанами стояли с ней рядом. Наготове. Слишком загодя заголились, она не любит. Шесть тощих мерзких ягодиц. Она им сейчас влупит. (Ух, сердитая.)

Я выждал. А оставшись наконец с глазу на глаз, рассказал Рае наш новый план. В ординаторской. Сегодня, конечно, уже по нулям. Сегодня поздно. (Расслабься. Не сердись на них, Раечка, *больные!*) А вот завтра... Завтра, когда она заступит дежурить в ночь...

Я говорил – Рая кивала. Оба соображали все-таки побыстрее шизов. (Она и точно расслабилась.) И похвалила меня:

– Надо, надо!.. Хорошо придумал.

И заулыбалась. И (женщина) голос заиграл:

– Хорошо, хорошо придумал! Вовремя! Считай-ка дни! Тебя вот-вот выпишут. *Три недели пролете-ели*, – она пропела.

Одобрением подстегнутый, я открыл ей мой параллельный ночной интерес. В ординаторской ночью – никого, мертвая тишина, ты да я, *Раечка, три недели, мне важно прочесть, что за херню они про меня настрочили. Три недели допрашивали.* Сама знаешь. Это же Баша-лаев! Имя! Мало ли что! Кусок хлеба в старости!.. Мы по-тихому. Мы потихоньку. Заодно (нечаянный юмор) и туда заглянем. Хотя бы глазком одним.

Рая согласилась:

– Ключ от ординаторской я возьму. А как открыть шкаф?

– Запросто, – сказал я.

Живя в бывшей дачной слесарке, в ключах я понимал. От скуки ковырялся в замках даже пальцем. Но для Раи (для ее уверенности) я тут же, на месте, кое-что сцыганил. Женщину поощряй сразу! Из могучей канцелярской скрепки (скрепляла анализы), распрямив ее и заново выгнув ей кончик под цифру «пять» (5 – лежащая на правом боку), я сработал ловкий крючок. Цепкую «козью ножку».

– Откроет? – спросила.

– Легко.

Глубокая ночь, оба полусонные, тяжелые на подъем, а все-таки и ей и мне сердчишко навязчиво стучит: надо, надо!.. Почему надо мне, не вопрос. Но ей-то, Рае, этажданная ночь выпала самая трудовая и суетная. У шизов в пятой палате, у обоих сразу, начался излом – приступы преследования. Вой на весь этаж. Врач по Раиному звонку прибежал скоро, примчался,

хотя и ночь. Прибежал, уколол обоих и убежал досыпать. Какой-то врач Иванов, близко живущий и практикующий на подхвате. И стало в коридорах тихо-тихо.

И вот взмыленная, уставшая, еле на ногах, Рая приползла среди ночи к нашей палате и разбудила меня. Пошли!.. Я тоже в ту ночь хорош – выпил не свои четверть склянки, а шизовы. Похожие склянки. Иду за Раей, глаз не разлепить. Штает. А в мыслях этак вяло-вяло, но все же с настойчивостью стучит: надо, надо... Боже ж мой. Что мне за старость выпала! И как покороен в тусклом коридоре мой шаг-шажок.

Впрочем, едва только пришли и скоро разделись, я понял совсем другое: старостью горжусь. И такой женщиной, как Рая, горжусь. Хотя и в темноте. Хотя и без луны! Свет в ординаторской мы, понятно, не зажгли.

Шепот!.. Этот всегда удивительный, бесстыдный в темноте женский шепот. И тишина. Глубокая, глубочайшая больничная тишина. И нет-нет подвывавшие (все еще) с этажа два бедных шиза нам ничуть не мешали.

И само собой – на их столе. Никаких диванчиков-топчанчиков. Правда жизни. Стол был достаточно длинный, но, конечно, жестко и неубрано – сорно, чего только нет, бумаги, папки, даже скоросшиватель! Ручки пишушие! Примяв Раю и уже трудясь, я между делом прихватывал все это добро рукой и, особо не отвлекаясь, сбрасывал на пол. Рая, молодец, как ни устала, а тоже трудилась, мало-помалу уже распялялась и пробно постанывала. Мы, что называется, нашли друг друга. Вот только там и тут под Раей возникали чистенькие ребристые пепельницы. И сколько же их! Сонный есть сонный. Я в темноте сталкивал на пол пепельницу за пепельницей, как вдруг упал со стола сам. Оказался на полу. Было и неожиданно, и довольно жестко. И Рая, оставшаяся на столе, выбрала меня с высоты:

– Вот уж *упал на ровном месте*.

Я упал и во втором тайме. Рая сердилась, хотя бился о пол я. Скоро ей надумалось здесь же, на столе, меня оседлать. Что и говорить, дело модное, приятное, но в крошечной темноте я не вполне понимал, кто я и где я теперь. («Зато больше не упадешь!» – подбадривала меня невидимая Рая откуда-то сверху. Как бы с потолка.) Медсестры любят самоутверждаться. Ей думалось, что она скачет на лихом коне. Или даже на раздвоенной снежной вершине Эльбруса. Зря ей не думалось, что она скачет на старом осле. (Нет и нет! Стариков надо щадить. Я мог теперь упасть на пол гораздо серьезнее – упасть спиной.) Скачка не прекращалась ни на секунду.

А Рая молодец! Распалилась, разыгралась вовсю, вот только во тьме мы с ней опять куда-то тревожно сползали. Но куда? Оседланный, я никак не мог сообразить, где у стола края. Как на льдине. Я даже не знал – лежим мы на столе вдоль или поперек.

– А как *она?*.. Как?.. Ну, скажи?.. – спросила.

Это уже после. Это уже Рая на отдыхе. Уже когда мы с ней тихо-тихо лежали рядом.

Я тоже расслабился. Все-таки лежали мы, как оказалось, вдоль стола, и можно было свободно вытянуть ноги.

– Чего молчишь?.. Как она? Скажи. Скажи. – Раечка меня расспрашивала и даже выпытывала. Женщина есть женщина. Люблю таких! У нее горели глаза – и еще оставались силы на слова, *на подробности*. (Притом на подробности не нашей с ней любви, только-только отгрохотавшей на столе, а совсем другой любви – ей чужой и от нее далекой!)

Лежали рядом в обнимку, усталые, выдохшиеся, а все-таки она выпрашивала *о ней* – об Анне. О такой красавице. Как она любит? (Шепотком на ухо – *как дает?*) И бывало ли с ней вот так захлеб на жестком столе?

Что-то я, помнится, плел и отнекивался, мол, о женщинах не болтун. А Раина заинтересованная речь вдруг в тишине осеклась. (Словно бы Рая подпрыгнула от меня опять куда-то вверх и к самым облакам.) И мои слова, что ей в ответ, тоже запнулись. (Я тоже подпрыгнул

в тишине к белым облакам в небе.) Потом говорили – кажется, о дружбе и любви. Но на очередной запинке мы оба теперь подпрыгнули к белым облакам и разом заснули. Я на полуслове, Рая на полувсхрапе. У нее такой легкий милый прихрап. Ручеек. Ручеек убаюкал нас и унес.

Подхватились мы уже засветло.

– Ма-ама!.. Мама родная! – вопила Раечка, бегая кругами у стола. Вскрикивала, хватая там и тут что-то с пола.

Врачи вот-вот придут. А у нее (вспомнила!) на главном коридорном столике, где пост и пульт, лежат горой медикаменты. Даже пантопон! Наркотик. Отчетный... Как раз на самом виду (кололи ночью шизам из пятой)!

Убежала, велев мне собрать и сунуть бумаги в шкаф. Нет, не запирай. Он у них и был такой!

– А?

– Шкаф был на ночь открытый.

Теперь я забегал кругами, поднимая с пола то и это. Вдруг до меня впрямую дошли ее слова *убери бумаги*. Слова дошли смыслом – среди прочих бумаг это же *мои бумаги*. Рая их загодя извлекла из шкафа. Нашла и выложила. Мое ДЕЛО. Вот оно. На столе. Подумать только! На нем мы и резвились.

Я метался от стола к створкам шкафа – и обратно. Я то складывал бумаги пачками в шкаф. (Чьи-то.) То торопливо листал, читал выбранное Раей из всех прочих ДЕЛО. (Мое!) Наконец сосредоточился. Стал разбирать ровненькие каракули Башалаева. Ага... Плевать на мои АНАЛИЗЫ... Не надо и про МОИХ ЖЕН. К чертям СНЫ!.. Заключение... Вот... Вот... Было как в шпионском фильме. Сердце подстукивало.

Каждый миг я ожидал звучных коридорных шагов. Листал и читал. Запоминал. Я, правда, не фотографировал. Не щелкал, раз от разу (финал фильма) приставляя вплотную к засекреченным бумагам шпионский аппаратик, крохотный, как кал мухи.

Успел.

Когда я шел мимо Раечки, она уже у пульта – восседала на посту. В полной готовности. Дежурный столик был прибран, чист, сверкал. Темнел только телефон.

Уже успокоившаяся, в ослепительном белом халате, Рая поманила меня властным пальчиком. Велела мне причесать всклокоченную седину. И шепнула с улыбкой на ухо:

– У тебя видок, будто ты всю ночь трахался.

4

А в палате поутирало тихо. Сосед-шиз еще спал.

Но появился жгучий Жгутов. Под мышкой врач держал мое ДЕЛО. (То самое. Прямо-е.) Он сел на табурет напротив моей постели и наскоро со мной переговорил. Он как-то слишком небрежно со мной расплевался. Сказал, что мной довольны и что меня выписывают – три недели прошли. Оплаченное обследование завершено.

– И что? – спросил я. (Хотя уже знал – что. Прочел.)

– Ничего. Жизнь продолжается. – У него был насмешливо-вежливый голос. То есть после Башалаева он уже никаких других слов мне не скажет. Таков, мол, их стиль. Не вправе он со мной открыто и по-человечески. Хотел бы, но не вправе! (А у меня не шло из головы, как он увидел меня голого в душевой – возле голой Раи. Он тогда остолбенел.)

Могли меня выписать хоть сегодня. Но ведь пятница, улыбнулся Жгутов. Придется пациенту пересидеть на больничных кашах томительные выходные. А уж в понедельник – полный вперед!

– Но, может быть, вы хотите поскорее домой?

После любовных мук на кабинетном столе хотелось мяса. (Завтрак.) Я сразу же попросил котлетку сверх. Мямлил, что мне вот-вот уезжать... вот-вот... когда, мол, еще я съем такую котлетку!

Мне дали даже две лишние. Посмеялись. Бедный подголадывающий старикан!

Я же, сдерживая улыбку, думал о заключении врачей. Я был здоров. Я был здоров!.. Я был совершенно здоров! Единственное, что в профессорских каракулях настораживало, так это их каменное слово НЕАДЕКВАТЕН. Я раздумывал над ним, жуя котлету за котлетой. То есть как это теперь понимать?.. Психика в норме (записано!). Никакой патологии нет (записано!). *Однако временами неадекватен по отношению к реалиям жизни.*

Вот как виделось это игривое профессорское НЕАДЕКВАТЕН – камень, и тропинка моя у камня *временами* вдруг круто раздваивалась: туда? или сюда?.. Камень-валун меж двух разбегающихся степных тропок. Но естественные возрастные отклонения невелики (записано!). Жизненные функции в пределах нормы (записано!). А дальше для баланса еще одно интересное словцо. *Неадекватность воображения пациентом, впрочем, контролируется...*

Словцо *впрочем* – оно так и заплясало у меня перед глазами. Радостное, спасающее, оправдывающее, гениальное словцо! Они ведь написали мне кое-что впрок! На всякий опасный случай (*настучали* впрок и мне во благо), что мое воображение усиливается к ночи. Что самоконтроль с некоторым запозданием... Но тем яснее победа, триумф. Всем бы нам в наши годы (в мои, в мои годы) такое великолепное ВПРОЧЕМ! Завидуйте!

Однако же какова жизнь: повсюду страсти! Врач Жгутов не просто так был недоволен тем, что их с Раей разделили на дежурствах. У него были виды на нее. Жгутов на нее целился. И целился он, как оказалось, тщательно и издалека – уже полгода!

Рая (вот-вот обед) отозвала меня пошептаться. Доверие за доверие – теперь она делилась со мной сокровенным. «Представляешь, он сам заговорил. И пригласил меня!..» – рассказывая, Рая смущенно сияла.

Жгучий Жгутов пригласил ее завтра в дорогой ресторан. (Субботний вечер. Оба не работают.) Вечером в ресторан – а потом, сказал, выпьем у меня (у него) дома кофе. Мой кофе, сказал, лучше, чем в любых ресторанах... «Сам кофе варит, представляешь?..» Я представлял. Оказывается, он ее не трахал. Оказывается, жгучий врач только собирался. Уже полгода. И вот решился.

Рая даже замахнулась на меня крепким кулачком. Неужели непонятно, почему она нервничает? Он ей симпатичен! Он ее врач. Он ее, можно сказать, шеф... и... и уже ведь полгода! Разговариваем с ним. А после обхода больных шутим, смеемся. Жгутов одинок, все знают, – и стало быть, женщине какой-никакой шанс! Неужели непонятно?..

Еще одна причина ей понервничать – та, что он не просто врач, а психиатр. Психиатры не бывают стеснительны. Молодой врач Жгутов, едва обговорив завтрашнюю встречу и свой вкусный кофе, прямо спросил – как у нее, у Раисы, с другими мужчинами.

А она была не готова к вопросу. Понятно, что не готова! Она в тот миг уже совсем размлела от доверия. (От того, что пригласил. От того, что к себе домой. Кофе...) Она как-то глупо призналась – она честная молодая женщина – у нее мужчина бывает где-нибудь на отдыхе, раз в год. Ну, два раза в год, не чаще. Так получается. Такая линия жизни. Кончается лето – и кончается любовь.

А что за человек был у нее в этот год – кто, так сказать, последний?.. Растревоженная Раечка, вконец смутившись, уже и рот открыла, чтобы честно и с ходу меня, пейшента, сдать... но помешали. «Башалаев! Башалаев!» – вскрикнули вдруг с тревогой на этаже. Оповестили. Кажется, кричала Старшая. Башалаев как раз появился в психушке, приехал ворчливый, раздраженный – и тотчас все они, маленькие, кинулись к станкам.

Жгутов, напав на след, теперь обязательно поищет, посчитает, поудит «в темной воде прошлого». Ну, не вообще, не пальцы загигать, однако спросить спросит (даром, что ли, психиатр). А то вдруг уже завтра вновь деликатно поинтересуется – кто, мол, у тебя, дорогая, был крайним?

– И что ему сказать?.. Если спросит – если уже завтра?! – Рая была растеряна. Молодая! (Вот не ожидал. Медсестры такие находчивые!)

Но и я советчик никакой, разве что своеобразный. Одно дело рассказать Жгутову с легкой талантливой слезой некую историю, мол, расстались с моряком летом, уже год назад, а еще лучше (за давностью) все два года. Растаять ей нельзя. Что за беспомощность! Врать надо красиво и не больно. Как не понять!.. Ух, эти женщины!.. Одно дело уплывший в море красавец морячок или бросивший тебя (упорхнувший в облака) весельчак летчик... и совсем другое – признаться и ошарашить... от скуки, мол, и от нечего делать *как раз вчера мне вставил вон тот придурковатый дедушка... пейшент...*

– Мне так трудно врать. Не умею. И еще боюсь, что после забуду, чего наврала... – вздохнула Раечка.

И глазками покосилась на меня:

– А вы?.. А мы... Как дальше?

– А что я? К чему тебе я?.. В понедельник уеду.

Она опять растерялась:

– Ты чё, ты чё! Ты же прикольный старик!

Но уехал я (так получилось) в этот же день – в эту самую пятницу, когда после обеда за мной «уже прибыли» – приехала Аня, «Анна Сергеевна». Меня тотчас выписали.

Анна Сергеевна вела машину отлично, на светофорах как по маслу – спокойно, ровно. А мое ДЕЛО с заключением лежало у нее на коленях.

Сама о нем заговорила:

– Вы даже не спрашиваете о заключении врачей. Никаких секретов нет! У вас там все хорошо. Все нормально... Есть там мелкие оговорки. Но в целом...

– А я знаю, что в целом все хорошо.

– Почему?

– Иначе бы, Аня, вы не сидели со мной рядом так спокойно.

Она засмеялась:

– Да. Вы угадали... Это тоже правда. Я пугливая. Есть даже причина... Со мной был когда-то случай.

Но тут мы как раз повернули к важному офису ее важного мужа.

Нелегкий был туда подъезд, машины там бросают, как хотят. Полусотня так и этак сверкающих машин, одна поперек другой!.. Аня трудилась изо всех сил, маневр и еще маневр – и подрулила благополучно. Затем мы (я вслед за Аней) поднялись в этот офис. Так у них изначально было задумано: Аня заезжает за ним (за мужем) после работы – и дальше напрямиком на дачу. В наш поселок.

Персона он важная, и рабочий день, конечно, не нормирован. Так что мы с Аней изрядно ждали. Но наконец уже ехали домой. Дорога возвращения сложнее, за руль сел он сам. Поток машин рвался за город. Зато я теперь сидел рядом с Аней на заднем сиденье. Это она так мне доверяла (после нашего с ней в офисе разговора). Мне же вдруг стало не по себе – все хотелось взять ее за руку. Хотя бы прикоснуться. Ее красота заново ошеломила меня почему-то в машине. (Словно пробудился после затянувшегося пошлого больничного сна.) Я умирал, так хотел прикоснуться.

Впрочем, как справедливо отметили в ДЕЛЕ, я себя контролировал. Я нет-нет и считал до ста. Зевнув, я нарочито отворачивался посмотреть, что там мелькает за боковым стеклом (не видеть ее узкие руки, сверкание белых коленок). Мое напряжение – это легкий озноб. И уже опасно думалось про лунную ночь: их дача от меня совсем близко...

Наш с ней разговор в офисе произошел у солнечного окна. Это в самом торце пустого их коридора. Специально отведенное для ожидания (и для болтовни) место, где на виду прищипанная кожа кресел, фикус, светлый ореховый столик, а на плоскости столика пара свежих пепельниц на изготовку – кури, дыми! Шагах в трех от их буфета. Мы поначалу как-то сразу пошли к буфету, но уже на ходу выяснили, что Аня не хочет кофе, а я не хочу (пока что) чай. Так что мы просто устроились в креслах, расслабились и ждали ее мужа с его ненормированного рабочего дня.

Ничуть не томились. Аня вдруг рассказала. А я, примолкший, как-то не уловил, что в этом уже знак – ее знаковое, хотя и осторожное со мной объяснение. Я думал, собираемся долго сидеть и ждать, да и сколько уже ждем, – а от ожидания чего не расскажешь. Рассказ был о маньяке, который на нее напал. В лифте. Когда в их доме летнее безлюдье. Первый раз в лифте он с Аней просто проехал вместе. Просто осмотрелся. «До свиданья» сказал. Во второй раз напал... Для начала он приставил к ее глазам длинную плоскую шпатель из металла, похожую на пилку для ногтей, – но не с насечками, а гладкую, даже сверкала. («Заточка», – кивнул я.) И стал стоя ее насиловать. (Держа левой дрожащей рукой заточку то у ее лба, то у горла.) Аня онемела, обмякла. Правой, тоже дрожащей рукой лез к ней через живот в пах. Сдвигал юбку книзу. Сорвал крючки... Левая с заточкой вверху, правая внизу – мужчина в позе «кофейник». Лифт остановился на этаже и замер. На это мужичок тоже рассчитывал. Пусть лифт постоит.

Он вполне изучил их задумчивый лифт. Он и тишину брал в расчет. Но на его несчастье, на этаже – ожидая лифт (ждали лифт, чтобы уйти из дома – чистый случай! – про возвращение Ани домой не знали) – оказались люди. Оказался ее муж и его громадный телохранитель. Мужик с заточкой так и застыл «кофейником». Телохран растерялся, а муж нет. Он за ворот рванул насильника на себя. Тот и вывалился из лифта... А уж тут всю телохранитель. Это сейчас у мужа (его повысили) телохранители крепкие, но издали, если не знать, оба вполне незаметны (профессионалы). А тогда были два мордоворота. Обычные недоучившиеся менты. Огромные. Первый свистнул второму, и здесь же, на этаже, на лестничной клетке, насильника стали бить.

– Но как бить! – охнула Аня.

От переживания заново Аню стало трясти. И наш светлый столик стало трясти тоже. И обе настольные пепельницы к решающей минуте рассказа (минуте расправы) впали в мелкую дрожь.

– Как же теперь бьют людей... Как бьют! – шепотом проговорила Аня.

Будто она знала, как их били раньше.

Я сидел рядом, ей сочувствуя. Я только поприжал зябко подпрыгивающие пепельницы.

Но в паузу я, конечно, встревал – я находчиво спрашивал Аню что-то по мелочам и тут же с ней соглашался. Как обычно спрашивает и тут же соглашается человек, облегчая другому трудный рассказ.

Помнится, я думал о том, как решает одна-единственная минута. Я думал о растерявшихся телохранителях. Я думал также о наших старинных лифтах и о возможностях там глухой защиты, думал о всяком-разном – вот только о себе я не думал. Маньяк – это маньяк, а я – это я. Ни на чуть я не спроецировал на себя тот случай.

Помнится, я даже обдумывал довольно сложную мысль о неизбежности существования маньяков *вообще* среди тысяч и тысяч – также и о феномене женской красоты *вообще*. (И с какой безусловностью увязано одно с другим.)

Аня меж тем как бы провалилась в прорубь собственного рассказа. Уставив глаза в пустую коридорную даль офиса, она, похоже, считала заново удары той внезапной расправы... В лицо. В позвоночник. В лицо! В позвоночник! В промельк ударов ей тогда же увиделось *его личико*... Пинок! Пинок в почки! Пинок и вскрик! Кровь струйкой из уха. Кровь рваной губы. И снова в просвете кружащихся кулаков – *личико*. Аня вдруг сказала, что лучше б он ее в лифте получил, поимел. Гнусно, но пережила бы она легче. Честное слово, легче... К тому же мог быть заурядным импотентом.

– Как бьют... Как они бьют! – повторяла Аня, стиснув виски руками.

Напавшему на нее было лет тридцать пять, худой, в жалком светлом плащишке. Залепанном кровью.

Лежал на полу возле лифта. Уже не били... С мочки сломанного на сторону уха неостановимо стекала кровь. Остренькое лицо несчастного человека.

Не ухо, «капающее кровью», меня задело. И не «рваная в крови губа». (Кровищи, этих красных клякс, если жить жизнь, никто не минует. Так или иначе.) Однако же, старый дурак, я почему-то надеялся (все мы надеемся, необъяснимо!), что таким, как Аня, не приходится видеть этих *мерзких и жалких*. Что хотя бы на таких, как Аня, не напоззает, не накатывается гриб отвратно-серой жизни – этой пепельной радиации, пронизывающей весь мир и нас всех, улица за улицей, дом за домом.

– Как их бьют, – повторяла она. Красивая. Молодая. А я не понимал. И не соотнес с собой.

Слепая вера в красоту легка и всеобща. Все, как один. Живописцы, к примеру. Знаменитые, сытые, обласканные, они не могли не верить. (Когда рисовали таких, как Аня. Когда не хотели рисовать других.)

Покруче, чем *личико*... Старик, с отбитыми почками, мочившийся (случай) со мной рядом. Стоявший бок о бок и повизгивавший при каждом своем жалком капельном выплеске (вместо струи). «О-ёй. О-ёёй». Он даже повернулся ко мне, умоляя глазами, – старик старика. Но о чем? О своей ли струе просил – о своей боли? Или о серой-серенькой кончающейся жизни-жистянке? Которую кто-то сильный и великий (кто-то с небес) ему сейчас заменит на совсем другую жизнь, а? Вот сейчас же, стоя с ним бок о бок, возьмет и жизнь ему заменит! (Словно бы здесь, в вокзальном сортире, сошлись отлить всемогущие боги.) А может, не о жизни-жистянке, а о той талой буйной воде, утекшей с солнечного пригорка далекой-далекой весной? «О-ёй. О-ёёй».

Личико? – А та женщина у дощатого строительного забора? Стояла на коленях в желтом песке... в изгибе засохшего ручья белой блевотины. Походя оттраханная и обобранная, она теперь пробудилась, но ровно настолько, чтобы пьяно и больно выть в небо (оплакивая мятые рубли) – опять же в небо, а? Жалкая, она еще и показывала небу на всякий случай кулак: «За что?.. За что?!» – подвывала, а что ей ответил я, проходивший мимо с затуманенным взглядом? А что ответили другой и третий? А что бы ей ответил тот, непроссавшийся, старик, – а ясно что:
– О-ей. О-еёей.

Других не лучше, я, кажется, надеялся на ее, Анину, красоту. Я все-таки надеялся (известная слепая, неумирающая иллюзия), что красивая молодая женщина – это в стороне. Что красота спасает. Это, мол, по другую сторону.

Я сказал ей, на самого себя (и на ту «лунную» ночь) наконец-то оглянувшись. Сказал негромко, совсем тихо:

– Я старик. Я просто старик, Аня...

Она кивнула.

Мы оба как-то очень согласно примолкли. Такая сложилась, мол, вдруг жизнь.

Но слишком долго молчать невозможно. Как бы хорошо двое ни понимали друг друга.

– Мне тогда показалось, Аня, что вы... Вы... – заговорил я. (Нелепо, но я как бы настаивал на той своей ночной затее.) – Что вы тоже... хотели меня тогда видеть.

– Я?.. Ночью? – Она даже отпрянула.

А я тоже отодвинулся и еще показал ей свои пустые нестрашные ладони. Зачем? (Почему ладони? Потому что там не затаилась заточка?) Я не знал, как еще я мог выразить свою нестрашность – и неожиданный совестливый укол за ночной приход. Я мучился, это правда.

Аня хотела что-то сказать (и очень решительно, резко), но к нам быстро шла женщина в форменном белом передничке. Официантка принесла из буфета термос с кофе – и еще чайничек со сливками. И чашки.

Мы пили кофе.

Нет, объясняла мне Аня, она не испугалась ничуть. Просто цепкая память. Как бывает в сентиментальном фильме (знаете, особенно в конце фильма!), иногда ей кажется, что тот жалкий насильник живет здесь, в поселке. Идет прямо по нашей дороге. Но не навстречу идет – а уходит. Его спина. (Хотя скорее всего он уже неживой, так его били.)

Наливала мне сливок в кофе, и... секундная заминка. Меня обдало теплом. Когда ее тонкая рука двигалась мимо моей. Едва ли она хотела меня коснуться (упреждая мое будущее). Это мне хотелось ее коснуться.

Второй раз мне хотелось коснуться ее руки в машине, когда уже возвращались в поселок. (Когда я, старательно выворачивая шею, смотрел в боковое стекло.) Муж вел машину, а Аня сзади, со мной рядом.

Тогда же, выглядывая в боковое, я сообразил, что это за джип не отстаёт от нас. Джип делал повороты вправо и влево точь-в-точь за нами – там и сидели эти два профи, неброские и крепкие, с чугунными руками.

5

Я шел пообщаться с стариком приятелем (это Петр Иванович), а вечерок был тусклый. Было даже мрачновато. (Лунные ночи еще не приехали.) Я случайно шел мимо дачи, где Аня. Просто шел себе и шел.

И помню – увидел. С восточной стороны Аниной дачи различились вверху два движущихся светлячка. Этакие милые крохотные огоньки. Они жили парой. (Как бы в нескончаемой любви!) В полной тьме светлые точки кружили друг друга.

Но для светлячков, пожалуй, высоковато, подумал я. И тотчас оттуда басовитый мужской голос ворчливо посетовал, что «сам уехал в город, а нас обоих здесь оставил».

– Выпендривается, – ответил второй басок.

Оба светлячка сигарет вновь взлетели – вновь замерли. Двое телохранителей покуривали в открытое темное окно второго этажа.

Но у меня мелькнуло только, что, может, жильцы новые с той стороны ее дачи.

Зато следующего человека в полутьме я угадал. Кто-то сутулый сидел на скамейке под жасмином. Ага! Старенький Александр Александрович. (Значит, дача Мазаркиных.)

Петр Иванович, мой приятель, был уже здесь – и от нечего делать старенького поддразнивал. (Старик дразнил старика. Мы как дети.)

– Сан Саныч, ау! Скоро выборы!

При слове «выборы» Сан Саныч, как автомат, начинал несколько вяло рыться в карманах и искать свой бюллетень. Искал в брюках, искал в пиджачных карманах. Во внешних, во внутренних. Он не спешил. Он спокойно искал. Это длилось три минуты... пять... и будет длиться все десять...

Древний старец давным-давно на автопилоте – все забыл, ничего не помнит. Я и Петр Иванович уходили по дороге, а Александр Александрович все еще двигал руками. Сидел на скамейке. Где же бюллетень?.. Обыскивал заново карман за карманом.

Ему под девяносто. Дважды отсидел классическую «десятку». И как всегда, старый ээк проголосует за коммунистов. Не все забыл.

И первая же лунная ночь стала мучительной. В пытку входило еще и то, что мужа Ани практически не было – уезжал почти каждый вечер. (Если завтра ранняя ответственная встреча, ему проще заночевать в московской квартире. Чтобы успеть выспаться.) А в эту ночь уехал неожиданно – я думал, он уже точно остается на даче (мне бы легче). Но машина вдруг вымчала из их ворот, фары, пересчитав штacketник, полоснули огнем по глазам – щурясь, я шел навстречу.

Он мог меня видеть. (Но – не разглядеть. Мало ли кто там идет тропой.) Машина ушла. Мощные фары уже вытянули свой свет по всей длине дороги.

Оставшись теперь «один на один» со светящимся окном Ани, я забеспокоился. Я боялся увидеть. В совпадающий просвет (меж деревьями и громоздкими скелетами ночных дач) ее оконце все же выныривало. Окно появлялось из черноты леса без предупреждения – внезапно. Как раз там, где я поворачивал у раздвоенной, как лира, сосны. Где кочки (и где старыми ногами надо поосторожней).

Но в эту ночь кочки под ногами не беспокоили. Кочки были как на моей ладони. Луна сияла!

Следующей ночью я осмелел и подошел к Аниной даче совсем близко, когда вдруг слева послышался громкий смех. (Это возвращались с поздней электрички.) Боясь быть узнанным,

я быстро приотодвинул штакетину – и в сад. Тут меня не увидят. Я шел меж деревьев. Сливы и яблони.

Теперь я уже не мог не глянуть на запретные ее окна. Темные, но одно окно теплится. Как свечечка.

Я был так близко от Ани. Вот и веранда, где дверь. Я стоял. Я сходил с ума. По счастью, отвлекла соседская собачонка, вдруг засуетившаяся дружески возле моих ног. Она казалась белой в лунной ночи. Еще когда я пролез в штакетник, она тьякнула. Я дал ей себя узнать: «Ц-ц-ц!» – здешние собаки, нюхнув, сразу смолкают, считая меня своим.

Кое-как я выбрался из сада. Уже плохо соображал. Слишком устал. Душа ныла. Да и ноги уже ныли... Я не смел пойти туда, к ней, это факт, но и уйти спать я не мог: кружил и кружил возле их дачи.

В конце концов стало невыносимо. Подняв глаза к высокой луне, я ей выговорил. Я был сердит:

– Чего от меня хочешь?.. Ну, вот я. Терплю. Терплю вторую ночь. Но дальше, что дальше? Впрочем, я контролировал себя...

Именно, именно так, как понаписали ему врачи! Старикан Алабин себя контролировал (он успел увидеть себя со стороны). И вот какой хороший старик он был сейчас, если со стороны, – он задирает голову к луне, ворчал, однако шел по дороге мимо. Он умирал, так хотел увидеть Аню, но мимо. Мимо забора. Мимо дачи, где ее одинокое оконце наконец-то погасло.

Ноги устали, болели. Старик чертыхнулся, ступив в дорожную рытвину...

Олежка появился в Осьмушнике поздним вечером. Приехал он чуть ли не последней электричкой, уже затемно, однако в доме пусто, в доме тихо, – Петр Петрович Алабин еще где-то бродил.

– Гулё-оо-на! – Зная о любовных муках (время от времени) своего деда, Олежка только посмеивался.

Он привез старику сколько-то продуктов. Хотелось, конечно, поболтать с ним – посидеть по-родственному за стопкой-другой. Это у них называлось *поужинать с дороги*.

Но дед все не возвращался. Стопку-другую, увы, пришлось выпить в одиночестве. После чего Олежка завалился спать.

Старик вернулся лишь глубокой ночью. Олежка проснулся и слышал его... Какая-то возня. Какая-то приглушенная брань. Старик сердито там бормотал. Кажется, каялся. Недоволен собой и жизнью.

У стариков бывает!.. Олежка заснул, но скоро снова проснулся. Он несколько раз засыпал-просыпался.

В какой-то раз проснувшись и встав, чтобы помочиться (захотелось на свежем воздухе), Олежка пошел к выходу. Шел и зевал. Ночь чуть светлела. Но все еще слышался голос неспящего Петра Петровича.

По ходу движения Олежка глянул в его всегда раскрытую (отсутствующую) дверь.

– Дед! – окликнул Олежка. – Дядя! Что это вы опять страдаете?

Старый Алабин, сидя на постели, только промычал:

– М-м.

И как был, одетый-обутый, повалился на постель, лицом в подушку. Старик постанывал.

Олежка еще разок окликнул – по имени-отчеству:

– Петр Петрович... Водочки, а? Или, может, чаю покрепче?

– М-м, – стонал тот лежа, уткнувшись в подушку.

Луна и любовь, похоже, его доконали, – Олежка лишь сонно улыбнулся – и вышел к последним ночным звездам.

А старик с очередным стоном поднялся. Включил зачем-то свет...

На обратном пути Олежка увидел в дверном проеме, что старикан раздевался. (Наконец-то.) Петр Петрович снял пиджак, брюки, снял и белую рубашку, бережно развешивая свое добро на плечики. А крепкий телом! – отметил Олежка.

Неугомонный старик загремел какой-то посудиною. Задвигался. И бормотал себе под нос: «Надо! Надо!..»

Олежка метнулся к нему:

– Дядя! Не сходите с ума! Не делайте этого!

Уже в который раз по приезде сюда Олежка уговаривал Петра Петровича принимать какое-нибудь всем известное лекарство от давления. (Если это давление!) Сейчас классные препараты! У гипертоников никаких же проблем! «Дядя! Стоп, стоп!» Сию же минуту он, Олежка, толкнется к крутым Крутовым.

К Крутовым – а можно и к соседям по даче слева, там своя пара живучих стариков – спросить таблетку легче легкого! «Это же дикость, дядя!» – выкрикнул Олежка, в недавнем прошлом – читающий солдат. И – замер.

Теперь правильнее было молчать. Так Олежке подумалось. Он не мог оторвать глаз. Он каждый раз замирал и не мог оторвать глаз при этом действе.

Старик, его дядя, его, можно сказать, дед, с опасной бритвой в руке уже восседал за столом, наклонившись над пустой белой тарелкой. Вид был торжественный. Вид был словно бы кому-то угрожающий. На миг старик сосредоточился. Раз – и решительным движением он надрезал левую руку у запястья. Пустил кровь.

– Средневековье! Дикость! – шепотом вскричал Олежка.

Он все выкрикивал про дикость – а старик рассуждал спокойно:

– Да, диковато. Это правда... Но мой дед (а твой, между прочим, прадед) так поступал.

– Твой дед, дядя, а мой, *между прочим*, прадед жил в прошлом... нет, уже в позапрошлом веке! Это всё были придурки. Представляю, какой это был мудака! Он наверняка верил в леших! в домовых!

– Неправда. Он не верил в нечисть, – отвечал старик, сливая кровь вялой струйкой.

В тарелке красного было на палец. Немного. Не так уж много. Старший Алабин показал глазами на бинт, и Олежка, спохватившись, перевязал ему руку... Продолжая бранить родного ему, но несомненно пещерного человека.

Петр Петрович выпроводил племянника из своей комнаты. Оставшись один, сразу лег. Он притих. Теперь-то он уснет.

Теперь-то я усну. Кровопуск действовал на меня лучше таблеток, и дело, конечно, не в дедах-прадедах. Таблетки я перепробовал. Они бы не удержали меня дома. Еще меньше они удержали бы меня в саду, вблизи Аниных окон. В какую-то минуту я бы шагнул через тот порог.

После кровопускания душа ныла. Но помаленьку.

Переживал он за меня! Олежка хороший парень. Но что-то в разговоре меня кольнуло. И я ему выразил. (Возможно, несколько напыщенно, но уж зато прямо.)

– Ты тоже – Алабин. Фамилию надо поддерживать.

Он только хохотнул:

– Фамилию?.. О чем это вы, дядя? Да кто в наши дни поддерживает фамилию!

В его смешке вновь послышалось нечто – вроде как грубоватый намек на родного дядю. Только-только так славно поддерживавшего фамилию в психушке.

Но ведь мне нечего таить. Я открыт.

– Ты хоть знаешь ли заключение врачей обо мне?

– А?

– Заключение врачей не знаешь?

Он не знал. Я дал ему копию бумаги. То-то, мой милый!

Олег прочитал. Мне показалось, он разочарован. И врачами психушки отчасти разочарован (результатами их обследования) – и мной, вернее, моим столь скорым и свободным оттуда возвращением. Он, кажется, загрустил. (Уже было настроился носить мне передачи! Приятно же, когда дядю запрут на полгода.)

Это я так шучу. Это я так его поддразниваю. Он меня любит. Я знаю. Потому и поддразниваю его. Мы – родные.

В подробностях (и с удовольствием) я ему поведал, что как ни крутили, как ни вертели эти ершистые врачихи и даже сам Башалаев, а накрутить-навертеть мне лишнего так и не смогли. Слабо им.

– Ты понял?.. Я всего лишь неадекватен к жизни, мой мальчик.

Я отступил чуть в сторону, чтобы видеть его молодое лицо. Засмеялся – и внятно ему сказал:

– А кто сейчас адекватен?

На третью ночь луна забралась так высоко, что я на нее не смотрел. Я лег спать и решительно отвернулся к стене.

Луна выше – ночь светлее. Это так забирает!.. Это меняет мир. Меняет человека. Вот поэтому я лег, отвернувшись от всей лунной торжественности, и сразу же настроился на сон. Лицом к стене. Без размышлений... А потом вдруг встал, быстро оделся и вышел. Сначала к кустам боярышника. На тропу. А дальше тропа повела, ноги шли сами.

И надо же такому произойти в минуту моего там появления: единственное светлое окошко (в ее спальне) как раз погасло. Но вот что сначала!.. Сначала Аня к окну подошла, приблизилась и в законную темноту взгляделась. Я тотчас взволновался. Она смотрела. Она прилипла к окну на полную минуту, не меньше!

Однако, чтобы себя контролировать (урок Башалаева), я стал над собой и над своим воображением подсмеиваться. Подумать, мол, Аня подумала у ночного окна (иронизировал я), да только не обо мне, а о том битом маньяке. Которого она все еще боится. (Жалеет и боится.) О нем ее ночные мысли. А не о тебе, глупый старик!.. Так умело я себя осаживал. Бабец и луна. (Именно так, по-башалаевски.) Держал себя в узде – ирония, сарказм, все как надо. И я не понимаю, как это я опять направил туда шаги.

Я уже прошел калиткой. (Она подумала, подойдя к окну, *все-таки обо мне...*) Я уже обогнул дом, чтобы войти со стороны веранды. (Дверь там легкая, никакая.) Если ее муж уехал, машины нет. Но посмотрел ли я сквозь яблони в сторону их гаража? Вот этого я не помнил. (Ворота гаража в случае отъезда были бы слегка приоткрыты...)

Прихожая, как и в тот раз, мне показалась (при луне) огромной. Я повернул шаги сразу к спальне и, чуть робея, приостановился. Но луна так сияла! Разбрызгивала!.. Отвага и любовь переполняли мое старое сердце.

Я стоял на предпороге. Нет, я уже шагнул: стоял в трех, что ли, шагах от ее постели.

Но я не услышал в чуткой тишине дыхания спящей. Замер... Вместо сонных придыханий с той стороны, где подушки, возник ее, Ани, негромкий мягкий голос – она спросила: «Это вы?..» В лунной полутьме и тишине расслышалось совершенно неожиданное: «Это вы?..»

Простенько так, буднично спросила, чтобы меня (и себя) не напугать. Я сказал – «да». Что я еще мог. И стоял... застигнутый на месте воришка! Стоял весь вдруг в робости. (И в стыде за эту ночь. За высокую луну.)

И тогда она сказала (я же знаю: думала, она думала о маящемся старике, когда на миг подходила к окну):

– Идите ко мне.

Я вернулся в Осьмушник умиротворенный, тихий. Покой и счастливая слабость. Как вдруг со стоном-вскриком во мне прорвалось...

Надо же, как меня взволновало! Как разобрало. Всерьез и со страстью я себе доказывал, повторял, что есть же и во мне что-нибудь привлекательное, что бывает приманивающая стариковская красота... что Аня сама ждала... что в окно выглядывала!.. и что в конце концов ее муж тоже не гиацинт. Ей тридцатник, а ему-то полтинник! (Могла и во мне увидеть.) Быстро-быстро я говорил, спешил сказать (сам себе), что нет, нет, нет!.. не только из-за ее испуга и ее жалости ко мне. Сам акт был так скромн, тих, это правда! – нас словно бы притушило, приструнило луной, вдруг засиявшей в окна. Но ведь как-никак любила! Не только же из боязни за меня и за мою непредсказуемость! Меня мучил этот рассудочный итог. Я что-то бормотал. Я до боли прикусывал губу. (И как в детстве, не соображая, насасывал соленькое.)

Бормотал, уверял себя... А насмешливые и злые зубы-зубчики знай подгрызали старику его нелепое сердце. (И луна спряталась. Не хотела, подруга, очной ставки.) Я сел прямо на крыльце, ноги в траве. Я даже курить не мог. Думать не мог. Пожалела? Ну да – пожалела. Это Аня. Этакий шрам на ее психике. (Чтоб у меня из оторванного уха не прыскала струйка пульсирующей крови?.. Чтоб с отбитыми почками жалкий старик не вскрикивал, мочась в общественном туалете: «О-ёй. О-ёёй».)

Телохранители были в двух шагах. Она предпочла сдаться влюбленному старикашке, чем поднять среди ночи шум и видеть, как старикашка разевает от боли немой рот. Когда те двое месят его кулаками... Рвут ухо... Выбор у нее был.

Если думать о себе долго, думать напряженно и жестко, то к душонке (к своей) свирепеешь. И как ни пристраивай к душе самооправдание или находчивую мысль, они неинтересны.

«Ты чё, ты чё! Ты же прикольный старик!» – как-то вяло подбадривал я себя словами женщины (это казалось важным!) – словами медсестры Раи. Прикрываясь ее добротой, как охранной грамотой. Прикрываясь простецкой добротой одной женщины от напугавшей меня доброты другой.

Я, видно, все еще бормотал. (Со всяким бывает.) Это как заклинание-самоделка. Я чуть ли не затверживал эти и другие обнадеживающие меня слова, сидя на боковине крыльца. Свежив в траву ноги.

Но вот проснувшийся Олечка, рослый, стоя в одних трусах за моей спиной, спросил несколько насмешливо. Он позевывал:

– Это вы, – (зевок), – про себя, дядя?

То есть что я прикольный и что вообще неплох собой старикан. Это даже сонного его развеселило.

– Неужели про себя?.. Дядя! Вы только не сердитесь, но вам следует знать правду. Вы старый козел.

Он позволял себе такое. Вернувшийся с войны, он считал, что человека лечит только принижающая его правда. Что она врачует. Именно она, правда-матка, отучит старика от ночных глупостей. (Называлось *правдой в полном объеме*. Он выудил ее из телящика. Как-то услышал там болтливового врача и закричал: «Дядя! Дядя!» – звал меня к экрану.) Старых психов тыкать нюхом в их собственное дерьмо – модное лечение, кто, мол, этого не знает!

– Вы плохо одеты... Вы часто неряшливы... Пахнете слегка, чтобы не сказать, воняете... Вы же себя не видите со стороны.

Он не прав. Не прав! У меня старый, но приличный костюм. У меня всегда белая отглаженная рубашка. Само собой, я подстригаюсь, моюсь, я чист...

– И не обижайтесь, дядя.

– А кто обижается, мой мальчик? Все честно.

– Идите спать... Хлебните, если хочется, водочки – и в постель. Я тоже... пойду-уу. – Олежка медленно зевнул.

Я поднялся с крыльца. И точно, пора. Рассвет серенький – краски блеклые. Рассвет, похоже, тоже лечили словом; принизили, как смогли. Но все равно рассвет.

– Вы еще держитесь, но вот-вот... Слышите, дядя, – вот-вот. В этом правда жизни. Вот-вот из всех живых дыр начнет сыпаться песок...

Он продолжал меня так осаживать. Считал, что правда жизни одна – и именно такая. Но я вдруг нашел, что ему на его правду ответить.

Я сказал:

– *Вот-вот* к каждому приходит по-разному, мой мальчик.

И добавил:

– Мой песок посыплется, когда я уже буду в земле сырой.

– А вдруг – нет? – Олежка улыбнулся.

Этот молодой засранец (в том смысле, что молод слишком) еще и присвистнул. Все равно люблю его. Родной человек. Прямота солдата.

Небось подумал: «Что вы, что вы, дядя! – в какой такой сырой земле?! По нашим временам *сырая земля* – это слишком. Дороговато это обойдется. Даже не надейтесь. Я вас *сожгу*, дядя». Мы иногда с ним жестко говорим. Зато любим друг друга.

Луна чеканила черты ее лица – и какого лица! Аня очень-очень легко, однако же, отвечала мне лаской. Ее рука сжимала мою. Она (ее рука) слышала, как я задыхался слепым счастьем. Она (ее рука) в ту ночь разговаривала со мной, незамысловатая азбука пожатий. Ничего больше не помню. (Ничего и не надо помнить.)

Долго ли я был там – часа два? Как это я, старый, в ту ночь не дал дуба!.. Помню все же, как она меня спросила. Подняв к луне мою забинтованную в кисти руку, Аня рассматривала – что это вы? Поранились? Где?.. А я только тупо и счастливо уставился на сияющий в окне желтый диск.

Негромко шепнула мне на ухо, что, может быть, хватит. *Он* может рано вернуться... и выпроводила меня.

Два дня Аня куда-то отлучалась, они с мужем раз от разу садились в машину и уезжали. (Подыскивали себе? Смотрели?..) А потом они вернулись – и в скорые полчаса съехали совсем. Сменили дачу.

Я видел, как те два неброских, но крепких телохранителя выносили чемоданы. (Я ходил отдаленными кругами и смотрел. Я, помнится, все спотыкался.)

Хозяин Жуковкин (сдавал им дачу за изрядные деньги) искал теперь новых жильцов. Про только что съехавших, про Аню и ее мужа, говорил с полупрезрением и полувосхищением:

– Надо же, всю мебель запросто оставили!.. Взяли – и подарили.

За кого проголосует маленький человек

– А после – у меня настроение портится.

– Почему оно портится?

– Не знаю.

– А что значит «после»?

– Ну... Ну, когда все кончено.

Послушать со стороны, мы говорим о чем-то интересном.

А говорим мы о выборах. Мой здешний приятель (Петр Иванович) цепок, как клещ. Спрашивает до упора. Настроение избирателя портится «после» – это через месяц? Или через год? Или «после» – это аж к следующему голосованию?.. А я не умею ему объяснить. Я и себе объяснить не умею.

«После» – это в ту же секунду.

Поначалу я, должно быть, как все – иду и улыбаюсь, немного выпил, душа поет. Нет, я даже радуюсь, я в восторге! Я похож на больного, выпущенного домой на субботу-воскресенье. Когда прохожу улицей, я чуть пританцовываю. Я влюблен в сам воздух! Как-то меня остановил и обнюхал алчный малаховский мент. Уловил-таки мой скромный сегодняшний дух, но только погрозил пальцем. (Я тоже уловил его дух.)

Что ни говори, а чудо голосования – это великая *игра Свободы*. Или даже так – свобода *великой Игры*. Все еще с заметной торжественностью я вошел в интимную кабинку и задернул за собой шторку. Затем – к кубу-ящику. И... опустил бюллетень. Его уже не вернуть (и не подделать)! Но едва мой скромный, сложенный вдвое лист зашуршал, утонул, как во мне легонько оборвалось.

Едва-едва проголосовал (а проголосовал я правильно, как всем нам лучше!), во мне что-то пропало – и нет его. Что-то исчезло. Как будто обманул ребенка. Пообещал ребенку и не сделал. (Или просто так обманул.) Мальчишка даже и знать не знает. Идет себе, трещит палкой по штакетнику. Или мяч пинает.

Да и солгал-то я мальчишке без мук. И даже из каких-то вполне правильных педагогических соображений солгал. Мальчишка и побежал себе дальше, веселый, обманутый, мяч пинает... бежит, бежит!

Этот мальчишка – мое «я». Мое старое, тертое «я».

– Да уж заходите, если у калитки стали! – Это нам с улыбкой Маша Сырцова. Смешок ее не обидный. Но если бы обидный, мы с Петром Ивановичем все равно бы зашли – покладистые!

Сам Толя Сырцов в саду – сидит мрачноват. Маша (несколько демонстративно) от него в стороне. Но нам-то в саду важнее всего их стол – большой, длинный стол с выпивкой, и стульев вокруг стола полно. Сядь так или этак – прекрасно, когда в саду много стульев!

Пока угощают, мы свою не вынимаем. Она у Иваныча в кармане. (Смотрим, как дело пойдет.) Маша пока что пошла нарубить нам огурчиков, лучка, помидоров. С веранды, стуча ножом, она нарочито весело кричит нам о том о сем. (Тоже отчасти демонстрация.) Толя и Маша в затажной, день за днем, разборке.

А я, знак старения, люблю красивые пары. И некрасивые, впрочем, тоже люблю: во всякой паре есть музыка. Толя сидит на стуле, а Маша, подойдя сзади, вдруг руки, локотками вперед, ему на плечи. Стоит сзади, чуть навалившись ему на спину. И голову – к голове Толи, нашептывая на ухо. Такая вот поза. Проходя мимо, я много раз через штакетник видел их и прикидывал – почему нет такой скульптуры? (Когда женщина сзади.) Тоже ведь НЕЖНОСТЬ. Или ЛЮБОВЬ. Как угодно можно бы назвать!.. Или ДОВЕРИЕ. (Вот уж дефицит.) Наверное, потому нет, думал я, что в бронзе или там в камне возникнет непременно громоздкое. Воз-

никнет пугающе карикатурное. Вроде как она, женщина, измученно толкает вперед его, сидящего в инвалидной коляске. Вперед и вперед. Уже на нервном пределе. Или же (как знать!) от избытка любви душит его, вдруг подкравшись сзади. Камень как камень, но живьем – это красиво. У них, Сырцовых, красиво. Еще у них замечательно, когда Толя свистит. Красивый сильный свист...

– Я вот все думал и думал. Твой двоюродный Саша – просто говно, – сообщает жене Толя.

Сообщает он после бесконечного молчания. Сообщает как некую важную (где-то наконец вычитанную) новость.

Маша вернулась к нам с огромной миской нарезанных овощей. Ставя закуску на стол, отвечает ему негромко:

– Долго думал?

И уходит опять на веранду. Забыла для овощей постное масло.

Они мне нравились, когда Толя свистел, а Маша опускала глаза. Муж и жена, похожие на влюбленных. И еще когда они так странно друг к другу прижимались: она стоя сзади, а он сидя на стуле. Красивая пара, которая кончилась.

Словно бы комедия! Как только выборы или иная политическая встряска, у них в семье нелады и почему-то сразу кончаются деньги. А кончились деньги – кончилась красивая пара. И тотчас полезло разное – он вдруг поминал ей ее еврейство, вернее, еврейство ее «отвернувшейся родни», а она бранила его за начавшееся вдруг пьянство и гульбу на стороне. Он ей – двоюродного Сашу и какую-то там «насмешку над бедностью», она ему – ночи вне дома и какую-то «кривоzubую Гальку».

И каждый раз получалось, что оба они, Толя и Маша, пригрелись на своем счастье и как-то слишком скоро вылежали его, словно старое одеяло.

Конечно, наш Толя классный музыкант и мужик. (Маша тоже умеет язвить.) У нашего Толи все с вдохновением. Щедр. Добр. Но на чужие деньги. Кончились заемные деньги – кончился классный мужик. (Это бы ладно. Это часто бывает.) Но почему кончился классный музыкант?

– А кто же это кончился?.. Неужели я? Угадал? – И Толя громко, пьяно захохотал.

Он попивал. Однажды, сойдя с электрички, черный лицом, он натолкнулся на меня и спросил выпить. У меня что-то было. Когда зашли, он выпил из горлышка сразу все полбутылки. И стал кусать свои тонкие руки, в глазах слезы. Так его унижали весь день. Унижали – но работы не дали. Жаль, конечно. Меня, кстати, не слишком растрогало. Меня растрогало, что музыкант все выпил и сразу же все выблевал.

Чтобы не торопить чужую бутылку, мы с Петром Ивановичем закурили – курили как помедленней! Праздные гости, мы в перебранку не встречаем. Мы понимаем. Деньги кого угодно достанут.

Но Иваныч все же заводит речь. Петр Иванович считает, что хороший гость хотя бы для приличия должен говорить.

– Н-да-а, – тянет он. – Выборы скоро. Дни вроде погожие... Выборы... А за кого голосовать, не знаем.

Толя и Маша смолкли, оба слегка оторопев. (От него не ждали.)

Иваныч в атаку (беседуем!) – он еще и нарочито усиливает свое недоумение:

– А что?.. Я серьезно. За кого нынче *наш маленький*?

– А? – говорю я.

– За кого проголосует маленький человек?! – И довольный собой (и прихваченным с телеэкрана риторическим вопросом) Иваныч наливает себе заслуженные полстакана.

Толя кривит рот.

Но Иванычу, видно, сильно неймется – беседем! – и он опять и опять за свой красиво удавшийся зачин – уже обращаясь к Маше (она поливает овощи постным маслом прямо из бутылки):

– Вот, говорю, погода. Погода какая стоит... а голосовать хер его знает... – И прикусывает язык, спохватившись насчет не той лексики.

Толя, затягивая кривую улыбку, наконец откликается:

– Тут, Иваныч, не угадаешь... Кто за кого. Вот Маша – за НТВ, или какие у нас теперь в моде три буквы.

Иваныч удивлен:

– НТВ?.. Разве есть такая партия? Я и партии такой не знаю.

– Кому надо, тот зна-ааа-ет, – тянет Толя. И следом начинает что-то насвистывать. Но первые же красивые звуки обрываются. Звуки замирают. Кривизной рта не посвистишь. Тогда Толя тоже выпивает полстакана и смотрит вверх – на верхушки высоких сосен. Смотреть – это у него получается.

Маша только-только ополоснула руки (умывальник у них прибит прямо к дубу. И полотенце на суку. Чтоб близко. Чтобы у стола.) – с чистыми руками, проходя мимо мужа, она зашла сзади и локти ему на плечи. (Словно расслышав мою эстетическую заявку.) Склонилась к нему. Все в точности. Попытка примирения. И губами к его уху. И висок к виску. Но не шептала – сейчас, в споре, этого было не надо.

Скульптура состоялась. Мужчина весь застыл – лицо окаменело. Даже губы рельефны. И даже возник античный слепой взгляд вдаль (вдруг лишивший Толю зрачков). Но, едва зафиксировав мраморное двуединство, Маша ушла. Только и всего.

Нас, старых нешумных выпивох, они зазывали, чтобы подвернувшимся словом не ударить друг друга слишком больно – слишком хлестко и резко. Мне так казалось. Каким-то неведомым нам самим образом мы помогали им не сжигать все мосты. При нас их собственные слова прослушивались ими «со стороны». Возникал стереозвук (стереослышимость звука) за счет двух молчаливых пьяненьких отражателей.

Нет, они не зазывали нас к себе так уж явно. За Иванычем и за мной на улицу, разумеется, не выходили. И из-за штакетника нам не кричали, нас завидев. Но вроде как если уж вы, старые, топчетесь у калитки – так и быть, заходите. И мы топтались. Мы иногда долго там топтались.

Иваныч сам себе кашлянул. (Значило, что есть некая кривая мысль.) Притихшая пьянь, он обдумывает и с некоторым личным драматизмом решает – ждать хозяйского винца еще или уже выставить наконец на стол нашу бутылку. У нас – белая. Она у него в бездонном левом кармане. Я как ни ощупывал, как ни похлопывал со всех сторон – нет и нет. Немыслимые недра. Карман до щиколотки. Иваныч любит дать свой карман ощупать, охлопать и признать, что там ничего нет. Такой карман невольно уважаешь!

А я о Лидусе. (Это уже моя набегала мыслишка вкривь.) В ее имени мне слышится сюсюкающее и одновременно несурзное, с привокзальной вульгарностью. Лидуся мне нравится, а ее имя – нет. Житье-бытье на дачах (деревня) всех нас сильно опрощает. Хочется быть поближе к крапиве. Пусть бы Лида. Пусть бы Дуся.

Лидуся и я, мы в эту минуту почти рядом – в прямом соседстве. Сажу в саду у Сырцовых, а прямо перед глазами забор и сад Лидуси. (Я и стул себе так выбрал, когда садился в саду за стол. Стул и ракурс.) Лида-Лидуся Пескарева. Молодая. Бухгалтер. Моя новая «лунная» любовь. Как все бухгалтеры, водку не признает. Однако и за водку ничуть меня не бранила. Только подсмеивалась. *Не упал? Неужели ни разу?..* Если же я припахивал вкусным винцом, слегка укоряла:

– Мог бы и Лидочке принести.

И я этак туповато (и запоздало) соглашался:
– Мог бы.

Вдруг (что-то вспомнил) моя рука со стаканом дрогнула, плеснув вином. (Хотел унять, удержать, а выплеснул еще больше.) Подтолкнул и вилку Петра Иваныча, с нанизанным уже помидором.

– Ну, ты! Криволапый! – взвился Иваныч.

Я и сам вдогон своему неловкому движению матюкнулся. (Маша, по счастью, вышла.) Стал маюкаться чаще и как-то свирепее. И по всякому пустяку. Споткнулся. Или уронил что-то... И тотчас великолепные и грязные словцо-два выпрыгивают сами собой! Возрастная брань, это понятно, но не потому, что с годами жизнь стала хуже. Не жизнь стала хуже – а я. Откуда-то из прошлого – из вековых завалов, из каких-то порушенных и уже истлевших в земле поселений, домов и хлевов (сгнили вместе с моими предками) – выскакивают, как из засады, эти дикие сгустки энергии! Залпы, оскорбляющие слух – но не сердце.

– Как не знать!.. Мы, к примеру, очень даже знаем. За НТВ мы с ходу проголосуем, – начинает вдруг снова Толя Сырцов. (Явно для Маши.)

Маша (она принесла вареной картошки) отвечает, как бы размышляя вслух:

– Но я, кажется, за... за единство голосовать буду.

Белые крупные картофелины под руками Маши исходят облаками пара.

– Я еще не совсем решила. За единство... – (Маша выкатывает картофелины ложкой на тарелки.) – Наверное, за единство.

А Толя Сырцов, наливая нам и себе еще по полстакана, продолжает:

– Да, конечно, единство... Скорей всего единство, а завтра, как зайдем, как только запремся в кабинку, листочек трясущейся ручонкой перед собой положим, оглянемся на все четыре стороны и... скоренько, скоренько за НТВ!

И снова Петр Иваныч удивлен и негромко опять за свое:

– НТВ?.. Что-то я, право слово, такой партии не знаю. Отстаю от жизни.

Он толкает меня в бок:

– Есть такая?

Я только пожимаю плечами.

Мы не вмешиваемся – мы, гости, несем им некий мир. Для чего-то же нас зовут. (Остальное не наше дело!) Толя Сырцов, этот попивающий ядовитый эгоцентрик, уже четыре месяца как потерял работу в оркестре. Торговал в киоске газетами. Теперь просто собирает бутылки. А Маша потеряла редакторство в музыкальном журнальчике, который вдруг издох. И в другом журнальчике тоже потеряла. Вот тогда-то некий ее родственник, двоюродный Саша, и подсмеялся над их неумением. «Сказать?.. Сказать, что твой Саша тогда мне сказал?»

В Толе клокочет обида. Толя несколько раз затевал сказать «до конца», но мы с Иванычем так и не узнали уж-жасной сей реплики. Нет-нет, он не скажет, потому что щадит Машу...

Что за жизнь! Он, Толя, сам себе противен! Он бы и вовсе ушел из этого бездарного мира, но куда ему уйти? Некуда. Сиди здесь и поплеывай в сторону дуба (там умывальник) – и еще подначивай в сторону Маши! Нет-нет, он не скажет!..

Но и Маша ему не прощает, тотчас переводя разговор на развеселое пьянство на стороне, – да, да, красиво так погуляли! Да, да, позавчера! Когда мальчик Толик забыл где-то триста рублей и заодно потерял зубик в ночной драке. Верхний слева. Зато теперь он куда больше похож на эту свою блядь, кривоzubую Гальку...

Я допиваю стакан и передергиваю плечами: у-уух!

Запущенные, отсыревшие полдачи, которые Маша и Толя никак не могут на лето кому-нибудь сдать, текущая крыша, невытая Галька, двоюродный Саша, двоюродный Паша, русские, евреи... вы нас... мы вас... Петр Иваныч и я слушали в охотку, пили винишко и знай

похмыкивали. Это интересно, когда русские и евреи кроют друг друга открыто – без оглядки. С любовью, но без оглядки. Есть что послушать!

И у него, и у нее уже повторный брак. Уже знали, как терять. Так что держатся они до последнего. И однако она никак не умеет стать на сторону его интересов. И однако он – уже с утра недобр, с утра усталый, – и с красными глазами! Скорей бы полстакана. Скорей бы усесться в саду и язвить... Чего не посвистишь? Или все высвистел? – хотелось спросить красивого и пьяненького озленного музыканта.

– Сидите, сидите, Петр Петрович, – удерживает меня Маша. – Доедайте! Куда это все со стола девать!

Маша как раз выставила нам еще кой-какой колбаски.

И Толя тоже:

– Сидите. Мы на гостях пока что не экономим.

– Да какие мы гости. Вечер уже!

Маша (мне) с улыбкой:

– Луна какая высокая, а? – И подмигивает. В поселке знают, что я люблю побродить лунной ночью.

Петр Иваныч, хороший гость, все-таки остается (допивать нашу бутылку), а мне хватило, мне пора.

В том-то и дело. Луна всю карабкается на небо. Меня уже забирает. Какие-то минуты я еще ерзаю на стуле, вроде как сейчас выпью белой и закушу. А затем, забыв поблагодарить хозяев, стремительно ухожу, почти убегаю – вдруг выскочив за калитку. (Где меня ждет мой уходящий поезд. Этот разлившийся лунный свет.)

Лида совсем томная:

– Знаешь. Я что-то наскучала. Ну и вообще... Давай сегодня помедленнее. Как сможешь помедленнее. Ладно?

– Я разве тороплюсь?

– Знаю, знаю. Но все равно... К дождю, что ли.

Женщина ближе к ночи всегда с какой-то новизной. (День в этом смысле скучнее.) Женщина обновляется то в жесте, то в слове, то в нечаянном желании. При том, что ночная обмолвка вовсе не ключ к каким-то скрытым ее обстоятельствам, просто живая женщина – как вода, волна за волной!

– Так? – спросил-сказал.

– Так-так. Хорошо... – сказала-похвалила.

Ее поощрение, это я сразу чувствовал. Ее молодость. Ее легкую усмешку.

– Так-так, – еще и еще похваливала она неспешный мой ритм.

Лишь отчасти мешал телевизор, там шли, кажется, уже последние предвыборные судороги. Но ведь негромко. (С убавленным звуком.) Да пусть его!.. Телевизор не мешает и не лишает нас запаралеленного удовольствия. Это известно. Как не мешает, скажем, плывущий пейзаж за чистеньким вагонным окном.

Лидуся меня потянула этак за плечо. И еще раз потянула. Той же рабочей рукой, что обнимала.

– Плечо чуть прими, – попросила непонятливого.

– Зачем? Хочешь видеть экран?

Да, она хотела видеть, хотела совмещать. У нее это получалось мило и просто. И даже честно. Лишало наши отношения напряженности. И завышенных, скажем, друг от друга ожиданий.

Отодвинув плечо, я еще сколько мог замедлил себя.

– Так-так. Хорошо, – одобрила.

Придерживаясь нарочитой ее сегодня медлительности, я испытывал, если честно, столь же медлительное удовольствие. Но старался. Неяркая радость мало-помалу обернулась неожиданной картинкой прошлого – когда-то давным-давно я (молодой) не мог выбрать направление в переходах метро. Метался туда-сюда между разделенными станциями. Между ветками – красной и синей. С ума сойти! Точь-в-точь, уверен, выбирает по жизни теперь она – мечется меж неизвестными ей станциями. Забавно, если поколения (мы с Лидусей) разнятся не временем, а лишь меняющейся суетой. Разнятся не наши молодости – разнятся лишь некие станции метро, из которых ни ей, ни мне уже не выбрать.

Пусть, пусть телевизор! Экранная голубизна в темноте – это наша свеча конца-начала века. Горела на столе. Ненавязчиво горела. Мы, впрочем, тоже ведь заняты самими собой, и что нам шумящий Жириновский... что нам Явлинский... Зюганов... Медведи... ОБРаги...

А меж тем дело у них, у спорящих, было всерьез. Так называемый «круглый стол», когда выступают сначала скучновато и по кругу, а потом выясняют отношения кратко и вразнобой. Кто с кем. Кто за кем. И кто – кого. Смещаясь корпусом (но не разрывая наших с Лидой медлительных объятий), я этак меланхолично потянулся к ним рукой.

Дотянувшись кончиками пальцев, щелк! – я вырубил спорщиков всех разом. Не чтобы совсем темно. А чтобы совсем тихо.

– Зря, – говорит Лида.

Ничуть не зря. За окном-то луна.

– Понимаешь, – улынулась. – Я загадала. На ком ты кончишь, за того проголосую.

А лунный свет так и лился! Лил себя. (Глаза охотно свыкались с колдовским сиянием.) И тишина.

Мы оба помолчали. Медленно так, слаженно трудились – уже счастливо и уже легко, как на втором дыхании. Как с горки идти.

– Зря выключил. Чем тебе мешали?

– Извини.

– Я не колеблясь отдала бы свой голос.

Она красиво это сказала. Тонко и точно копируя чью-то знакомую интонацию с экрана. На что я, душой добр, подумал – ладно! Пусть. (Не убудет же нас с ней от этой необходимой народу круговой беседы.) И потянулся опять к ящику – привстал.

Лидуся, угадав, тоже потянулась туда же и заскользила, гибко смещаясь молодым телом вместе со мной. Я хочу сказать, что, привстав, мы очень согласно держались вместе. А наново включив телевизор, согласно же сместились к постели и проделали путь назад. Все удачно.

И опять лежали в комнатной голубизне. (Вот только звук я не восстановил. Ей, она шепнула, хватит картинки.)

А они на картинке тоже времени не теряли: трудились! Они убеждали каждый каждого в своей правоте. Но, конечно, особенно яро они убеждали всех нас – напрямую с экрана, – мелькая там и промелькивая просветленными лицами – без единого, впрочем, звука и слова. Ах, как напористо, как зримо сменяли друг друга! И все же я не уловил, как там у них и у нас к концу вышло.

Меня отвлекло в сторону. В голубизне комнаты (и к экрану спиной) я напридумывал (помню) в эти минуты странную лунно-телевизионную реальность.

Вот какую: у нас здесь сложился свой очень изысканный «круглый стол». Я вникал – я отслеживал взгляды: этакую вязь четырех взаимно сплетенных и потаенных переглядываний (или даже подглядываний). Это был наш интим:

экран (знаменитыми лицами) уставился и, безусловно, смотрел (в обход моей спины) на нагую Лиду —

нагая Лидуся смотрела в основном на меня (на мое медлительно подвижное плечо) —
нагой я — на луну —

а нагая луна, завершая круг, уставилась прямо в голубеющий экран ящика — на мельканье там знаменитых лиц (обнажавших, по полной, свои души).

Засмеялась:

— Угадай, о чем я подумаю, когда буду заталкивать их бюллетень в щель?

Ну вот. Грубовата иной раз. (Имя её аукнулось.) Но, конечно, прощаю. Сам не лебедь.

— О чем?.. Угадай.

— Не знаю.

— А ты угадай!

— Наверное, о том, как твой кандидат втискивается в свой «ВОЛЬВО».

Она фыркнула:

— Вовсе нет.

— Ну, значит, как ты сама втискиваешь попку в узкую юбку.

— Нет! Нет!

— Значит, почтальон...

Я так и не угадал. Она хохотала:

— Какой глупый!

Смеялись оба мокрые — так крепко пробил нас трудовой чувственный пот. И оба шумно дышали. Лида-Лидуся, молодой бухгалтер, однако же и ей сердчишко давало знать!

Но только-только мне сладко подумалось о незаменимой в такие минуты чашке чая, как вдруг на стене заплясал луч. Свет... Фары машины... Я тотчас встал. Лидуся тоже. (Заметалась в темноте.) Спешно мы оба оделись.

Я — к их боковому входу-выходу, что со стороны веранды. Уйду садом.

Ее мужик... Уже года три, как он у Лиды, но в последнее время это похоже на финиш: отчаливает помаленьку наш мужичок куда-то в левую сторону. (Уже нечаст гость. Не балует Лидусю...) Открыл ворота. Ага! Въезжает... Закрыл...

Пока он там, на въезде, возится с воротами, мы прощаемся.

— Хорошо, что пришел... Поболтали, — говорит Лида. — Спокойной тебе ночи.

— Тебе вряд ли спокойная будет.

Она улыбается:

— Эт точно!

— Сейчас примется за тебя. Прямо с порога, а? Все по новой.

Она зевает:

— Э-а!.. Пусть его. Знаешь, девчонки в таких случаях говорят: второй — не первый!

Мы тихо смеемся.

Она:

— Он еще и телевизор, как ляжет, сейчас же включит. Новостями всегда интересуется.

И тут мы оба смеемся громче, чем надо бы.

Она:

— Тсс! С ума сошел...

Я шагнул в ночные запахи — шел садом. С глухим шуршанием (осторожно) ступал по траве. Вокруг всё были яблони, яблони... Разлапистые... Старые... Большие... Ни от кого не уходили и не бежали — деревья застыли в белесой лунной пыли.

Сад волнуется. Я легко засмеялся... Я видел, что здесь, у деревьев, тоже свои выборы. Голосуют по старинке — сразу двумя руками. (Или даже тремя, четырьмя. Сразу всеми руками, сколько есть!) В полном согласии яблони, голосуя «за», вскидывали ветки к белому лунному свету.

В утробе

1

Я думаю о природе вытянутых земляных ямок. Вырыты ямы лапами несильными, но быстрыми. Я вслух ругаю. (Пусть Олежка слышит.) Пяток, мол, яблонь да смородина, бранюсь я... Одна, мол, кривобокая слива. Участок мой мал. И если сюда повадился крот, столь малое пространство он изроет и изгадит своими кучками-ямками очень быстро.

Ямы... Ямки... Есть такие, что круто и сразу в землю. (Начинал крот рыть нору – начал и бросил. Но это какой-то огромный крот. Таких не бывает.) Вытянутые свежие ямки...

– У людей большие участки. Нахватили земли! Нахапали!.. А с чего дурачок крот повадился ко мне?

Я возмущаюсь и бранюсь, но больше для вида. Я заметил, что Олежка тоже заинтересовался ямами... Может, он заговорит?.. Обычно он курит, сидя на крыльце. Теперь вот пересел на чурбак, нагретый солнцем. Так он ближе к теплу и к небу. И поближе (глазами) к ямам.

Олежка курит молча, одну за одной. Его длинные худые пальцы на руках желты, а прокуренные ногти (указательного и среднего) черны. Бордово черны, как после промашки, после неловкого удара молотком. Не знаю, о чем говорить. Если ему замечу, что курит много, он меня пошлет. Груб. (Да ведь не бросит курить. Я бы, пожалуй, испугался, если бы он бросил. Не знал бы, чего ждать дальше!)

Иногда крот делает ложный ход. Вспарывает землю на виду. Вроде как он, крот, слишком высоко взял, ошибся... Длинной ямка почти в метр... Потом крот выбирает лапами землю, совсем неглубоко, получается удлиненная выемка... Войдет ведра три-четыре воды в такую выемку. Чтоб не рыл дальше. В мокрую не сунется... Не нужны мне его кротовьи фокусы.

– Сволочь какая! – бранюсь я.

А сам жду: пусть Олежка тоже скажет, хотя бы сволочнет крота. Я же заметил по глазам... Рытая земля его привлекает.

Я продолжаю рассуждать вслух: нарытые ямы от яблонь неблизко. Но не сегодня-завтра крот их корни достанет и поранит. Если уже их не достал!

– Это не крот.

Ага. Заговорил.

– Почему не крот?

Спросил, а сам заделываю эти странные раны земли. Кучки разравниваю... Пучки травы возвращаю на место... Сгребаю всё вновь в кротовьи ямки. Утрамбовываю, утаптываю ногой.

Вялый, отстраненный Олежка все-таки выдал из себя объяснение:

– Это не крот. У крота – норы. Узкие норы. У крота, дед, лапы очень тесно поставлены.

– Где ты их видел? Кротов? – я обрадовался, но радость скрываю. Мой мальчик все же открыл рот. (Теперь он все чаще называет меня «дед» вместо «дядя». Это, кстати сказать, точнее. Да и роднее.)

– С окопом рядом. Там было полно кротов.

– Вы их ели? – Я втягивал его в разговор, не важно как.

– Ха. Поди поймай... И еще вот что: кроту все равно, какая под его лапами земля – с травой или без травы. Крот не видит... Крот чаще всего изнутри роет.

– Из-под земли.

– Да. А у тебя, дед, лапами выбирали землю, где помягче... Снаружи выбирали... Видишь?.. Это собака. Я думаю, собака. Лапами быстро-быстро роет... И не нора, а явно выемка... Собака!

Действительно, *выемки*. Я заметил их случайно. Поутру их выдала трава. Появились недавно, свежие.

Чья-то собака! А может, ничья... Я тотчас согласился с Олежкой. Я готов был говорить и говорить. У меня, Олечка, в заборе полно дыр. Собаке прощмыгнуть и попытаться зарыть здесь старую кость – самое оно! Без проблем!.. Олечка!

Но парень уже ушел. Не дослушал.

– Олечка?.. Будешь отдыхать?

Он не ответил. Пересел с чурбака опять на крыльцо. Вынул там сигарету. Закурил. На чёрта ему думать о моих ямах.

Сейчас лето, он без дела. Сломавшийся солдат не хотел ничего – ни думать, ни делать – и совсем не хотел работать. Он сменил за год уже десяток работ и мест службы. За столом, с дешевеньким калькулятором в руке... Или с лопатой, с ломом... Или на рынке, возле коробок с товаром... Но удержаться на месте не мог. Загадка шеи или загадка головы? Что у моего бедолаги уставало больше?.. Чуть что, и он клонил голову, отыскивая солдатской башке теплое местечко.

– Эй! – расталкивали его. – Ты что?

Но как ни толкай-ругай, через десять минут его голова опять опускалась, чтобы уткнуться, скажем, в колени. Или же опускалась на поверхность казенного стола. С тихим, но слышным стуком. Стучу башкой, дед. Сам о себе начальству докладываю.

Не высыпался ночами, вот и вся разгадка. Как он мог выспаться, если ночами беспрерывно мотал головой на подушке туда-сюда, да еще с какой энергией! С каким напором! Смотреть было не только неприятно – страшно. Однажды, вернувшись домой поздно ночью, я увидел эту молотьбу во всей красе. Я даже озлился. Ночью ведь забываешь как и что... Только стариковское раздражение... Хотелось дать по бесноватой башке. Пусть успокоится!

Звуки... Сначала я расслышал туда-сюда кач. Честно признать, я тогда подумал, Олечка кого-то привел и трахает. Наконец-то. Я даже порадовался за него... Пора ему!.. Шорк-шорк. Кач-вскачь. Но он лишь качал головой. Подушка влажная, мокрая (шея наверняка в обильном поту!), отсюда и мерный шоркающий, чавкающий призывок. Вдруг замотал головой с такой силой и страстью (именно страстью), словно хотел, чтобы она оторвалась и наконец перестала посылать ему (его шее) некие жуткие сигналы... Он подвывал. (В ту ночь я испугался.)

– Не пора ли поесть? – зову я.

Мы с ним – через поколение. Контакт слабоват. Но, как всякий старик, я надеюсь, что я излучаю для Олечки некий слабенький свет опыта. Как-никак я уже протряс свое тело по житейским дорогам, а он нет.

– Не пора ли есть, эй? – Но после долгого молчания мой голос почему-то негромкий.

Он не слышит. Сидит на крыльце, вынул очередную сигарету... Вижу издали его черные прокуренные пальцы. Два черных ногтя на среднем и на указательном пальцах руки. (Соседствующие с сигаретой.) Выковырнул спичку... Чирк... Еще чирк... Солдатское счастье.

2

– Ну, мотает башкой. Ну, шоркает, подвывает – тебе, Петрович, не угодишь! А если бы он молчал... А если бы лежал мертвяком – тебе бы понравилось?

И Лидуся добавляет:

– Может, он башкой мотает – и всякую гниль от себя отбрасывает.

– А?

– Может, он так выздоравливает.

Мотает и отбрасывает от своей жизни всё лишнее. Отбрасывает гнилое, а? Каково?..

У Лидуси бывает острая мысль. Вдруг, среди ночи – и острая. Молодец. Я доволен.

А Лидуся недовольна. Даже если спишь бок о бок, минутка сна лишней не бывает. Ночью надо же и поспать.

– Спим, спим, – согласно говорю я.

– Где ж спим?! Ворочаешься!

Лидуся права. Сто раз права! Если бы вдруг он перестал трясти головой, я бы еще больше испугался. Вряд ли само собой прошло. Вряд ли кончилось... Не верю я в такие счастливые концы. Не верю в сказочку... Почему не шоркает по мокрой от пота подушке?.. Почему, почему он не мотает башкой? – терзался бы я. Значит, уже таблетки? (Каркас будущих бед...)

Если бы Олежка не родной мне (единственный из родни, оставшийся мне действительно близким, так уж получилось!), я, кажется, был бы не прочь, чтобы его дергающаяся башка сделала наконец, что хотела – оторвалась бы! Наконец-то! И точка!.. Смотреть невозможно. Но нет, солдатская шея держит, эта шея держит что угодно, это ей запросто – как переброс футбольного мяча с фланга на фланг – пас! Еще пас!.. Я сидел с ним рядом – я старик, но я и помыслить боялся, какие триллеры могут прокручиваться внутри головы при таких ее перебросах, при такой распасовке. А вдруг там, в его спящих извилинах, ничего – чистота пустого места? Белый лист?.. И даже ничего не мелькает, не мерещится ему, кроме тонущих «Титаников» и прочих киношных концов света?.. (Это я так думаю. Он – наверняка нет.) Но ведь что-то ему снится. Что-то же он там видит! Мой мальчик губы кусал – однажды я углядел кровь. Щеку прикусил!

Пацан. Так я его зову, он приучил. Они там, в окопах и на блокпостах, звали себя пацанами, так и быть. Я с удовольствием называю его (мысленно!) *мой мальчик!* У меня рядом нет близкой родни. Ему не нравится. Ему это сладковато.

– Дед, – сказал он в первый же день, вернувшись, – ты говно. Какой я тебе мальчик... Ма-аааль-чик, – передразнил он чью-то гнусную интонацию.

И потому я нет-нет и принимаю его правила. Их правила. Я, отживший свое, отмирающий интеллигент, наткнулся (как с разбега) на их поколение, на их *черезпоколение*. И хочешь не хочешь мимикрирую: подделываюсь то под язык молодых пэтэушных девчонок, то под окопного парня... пардон, пацана.

И потому подойдя к нему, сидящему на крыльце, я небрежно бью его по плечу (самое оно!) и хрипловато ворчу:

– Пацан. Как насчет пожрать.

Без вопросительной интонации.

Конечно, курение, даже чрезмерное, даже с черными ногтями на двух околосигаретных пальцах, – никакой не знак. Ничего неделанье пацана тоже не знак. (Все курят. Все бездельники курят много.)

Олежка, на мой взгляд, сейчас никто – тихое, тишайшее болото, из которого лишь понемногу сочится, выползает водный ручеек.

Но вода знает, куда течь. Олечка, как и все *они*, будет попивать. (Уже попивает.) Сидение со мной за столом, болтовня со стариком под портвешок ему неинтересны... А вот водка в одиночку – это да. Я подозреваю. Я почти уверен. Вдруг уезжает. И вдруг возвращается с запашком. (А что может быть еще, кроме водки?.. Компания дружков потребовала бы по времени больше часов. Любовные дела еще больше.)

А на очереди – таблетки. Тоже потихоньку. Выклянчиванье в аптеках. Втридорога там всякому продадут... И только затем контакты. Вот тут начнется. Такие же, как он... Я их посмотрелся. Качающиеся. С мутным взглядом. Они идут уже на всё. Лишь бы тридорогие деньги... И такой, в сущности, у этих парней короткий путь. Каких-то полгода. Будет глотать «колеса», потом перестанет, потом снова. Потом кинется к врачам. Но это уже ничего не меняет. И вот получите – качающийся возле аптеки... Таблеточник. Готовый на всё.

Во мне в минуты такой растерянности просыпается совок. Согласный строить планы и верить в светлый финал – бороться!.. Совок готов биться с недругами, хоть с десятком, готов биться с пороком, с бедой, с наследственностью, хоть с мертвой пустыней... но... Но даже и просветленный совковым напором, я не в силах биться с целой эпохой деградации. Я не могу биться с огромной прослойкой отупевшего молодняка – с их человеческим фактором, с тысячами и тысячами молодых придурков и «пропащих» девиц. Потому что они далеко не придурки – они уже *культура*, а против культуры не поперет никакой упрямый взыгравший старик, никакой вдохновенный совок...

Когда без сна ворочаюсь в постели рядом с Лидусей, я, должно быть, кажусь ей жестким. Коленчатым. (Коленчатым валом.) Костлявым механизмом. Зато она чудо, как мягка... Поворачивается она редко. И медленно. Крупное тело... Слониха... Ночью все преувеличивается. Я преувеличиваю Олечкины страдания, Лидуся преувеличивает мои...

– Иди. Иди ближе... Снотворного, а? – с глуховатым смехом зовет, притягивает Лидуся меня к себе. Моя бессонница ее достала.

Она счастливо устроена. Она на сто процентов уверена, что сладка и что всегда желанна, что она в этом деле мастер-класс. Она и правда хороша, и это замечательно, что она не подозревает, насколько ее ласки скромны, умеренны – и в очень скромных границах. Я этого, разумеется, не выскажу и намеком. Старик видит плюсы прежде всего остального. Лида – мой нынешний потолок. Сладкая молодая женщина... И я не забываю ее похвалить.

Чуть что бросал работу. Скучно ему. Отвратно ему. *Меня, дед, от них ломает!* – так он объясняет свое тотальное безделье. Тотальное, если не считать иногда вырывающейся (прорывающейся в его голосе) надежды на лето.

Я в нем заметил. Это странное (для юнца) напряженное ожидание жарких дней и теплых ночей. Нет ведь у него никакой работы, чтоб вырваться в отдых. Нет жилья. Нет друзей... Только и есть ожидание лета. (Уже кое-что.) Старенькая дачка двоюродного деда (моя) – и вся его надежда нацелена на эту дачку и на лето. Так он говорит. Однако затем сидит молчком на крыльце и курит, курит. Не шевельнет ни пальцем, ни извилиной, а ведь вокруг уже лето – чего ему еще?

В начале лета он пытался. Первые два-три дня. Теперь уже не пытается. И при этом (при этих своих непопытках) надеется, что лето его спасет. Что за пустая мысль, что за безнадёга!.. Лето ничто – человек всё... Даже если это соседствующая по даче Лариска... Лидуся сказала, что Лариска после свидания с ним пришла вся истерзанная, невыспавшаяся, с громадными синяками под глазами. Терзали друг друга всю ночь, и что?.. А ничего. Вся в синяках, в засосах и... и в слезах. *Полный ноль*, сказала эта Лариска, куря сигарету и смахивая вдруг побежавшие слезы. Сказала про моего пацана. Про Олечку. Пацан-ноль...

Было второе свидание, второй раунд, еще более провальный. На этот раз пацан был вял, был никакой, так и пролежал рядом с Лариской, как не понимающий, чего от него ждут.

Как инопланетянин, сказала Лариска. Сообщила Лидусе коротко. Подробно без подробностей. Лежал пацан и молчал. И не хотел. Не шевелился, когда Лариска его поощряла... А каково же было его унижение. Каков был его молчаливый сон-не сон. Рядом с продолжающей поощрять (и уже злой, мысленно чертыхающейся) Лариской. Бедный пацан!..

«Эх, дед! Ты и представить себе не сможешь, как тебя возбуждает, когда ты на броне!» (Почему это я не смогу представить? Я даже Лариску могу с собой рядом представить. На броне.) – «Возбуждает!.. Больше, чем любой бабец! Когда тебя трясет, когда на броне подбрасывает, колотит, – а кто-то из зеленки в это время целит тебе в лобешник!» – «Впустую мне это». – «Не впустую, дед. Когда ты взъярен, танк или БТР, с которым ты слипся, пролетает опушку быстрее, чем торопящийся за тобой прицел, чем глаз стрелка... Все пацаны это знают. Пацаны так возбуждены, что даже привстают на броне, грозят кулаком зеленым кустам – на, сука, стреляй! Все равно промажешь!» – так Олежка рассказывал в первые дни (уже летом) по приезде, в первые два дня... перед походом к Лариске. А потом смолк. Сидел на крыльчке и смолил одну за одной. Черные пальцы...

Я уверен, он не для меня – для себя самого рассказывал. Напоминал себе, что физиология в норме... Он же помнил. Он повторял вслух, как повторяют заговор. Он шел на свидание и помнил, помнил эту прыгающую под ним, возбуждающую броню... Перед свиданием с Лариской он ерзал, сидя на крыльце. «Дед. У тебя твой мерзкий портвешок остался?» – Ерзал. Не хватало тряски. Ему не хватало, чтобы подгнившее мое крыльцо пронеслось БТРОм по дурной дачной дороге. Не хватало, чтобы крыльцо подпрыгивало и ухало по канавам. Ему не хватало, чтобы кто-то сейчас в это крыльцо целил и запоздало стрелял.

Знаю. Помню... Потерял лучших друзей. Еще и поэтому, мол, он никакой, от горя черный. Не люблю слово *черный*. Я знаю, знаю, что и вправду потерял друга уже здесь. Алик повесился... Тоже контуженный. Пришел из армии и, обнаружив, что некоторые девчонки на дискотеке с ним не идут, а с кем-то другим под ту же самую музыку весело приплясывают, нашел себе веревку (ремень) и какую-то нехитрую точку опоры. Кажется, дверную ручку. Повесился сидя.

Боюсь... «Дед. Я не так уж контужен. Мне просто нужно отлежаться». Мой не так уж контуженный (и никого не винящий) мальчик станет таблеточником – станет качающимся длинным доходягой возле аптеки... Или сам выйдет на дачную дорогу за кой-какими малымя деньгами. Не с мокрухой, но с угрозами. Вот и зависимость. Моя мысль пугается самой себя. Этот качающийся доходяга попадет шестеркой к кому угодно... К дешевому блатяге. К базарному гангстеру... Я (бывший совок) был когда-то приучен, что план сильнее судьбы. И потому моя мысль бьется как в припадке: спасти! спасти!.. Всякого, мол, можно спасти, если успеть помочь до. Но как я успею... Олежка захвачен целым слоем таких же. Эти вялые молодые мужики деградируют целой прослойкой и по своим (мне не видимым) законам. У них свой слог и свой скок, своя эволюция, – против стада не наплюёшься, и где уж мне, старику, успеть до.

Я ломал голову. Если парень раскрепощается и набирается крутой злости через секс, это норма (как ни жутко это звучит), это нормально, и он по жизни еще всё свое успеет... Но перестановка «секса» и «насилия» всё меняет. И если раскрепощение парня началось с насилия и убийств, продолжения не видно – и никаких других раскрепощающих дорог уже нет. Эти люди в будущем (эти парни) совсем не обязательно уголовники. Они не обязательно злы, безжалостны и круты на расправу. Они не обязательно наши начальники. Милейшие и мирные могут быть люди. (После того как убивали других.) Они как мы. Однако им всегда будет понятнее и предпочтительнее видеть мир (и людей) через перекрестье прицела «кто кого осилил». А не через замочную скважину «кто там кого имеет... любит или не любит». У меня даже заломило в мозгах. Я стар для таких напряженных мыслей. Башка такое уже не держит... Мелькнуло и нет... Мелькнет, и вроде бы важно, суперважно, а через минуту думаешь – о чем это я?.. Вот тебе и до. Ре-ми-фа- соль...

3

Ночь. И я не знаю, куда иду – к Лидусе... или уже от Лидуси топаю к себе домой?.. Стариковская (и плюс усталая) голова ночью устроена невнятно. Но ведь я иду от дачи к даче, значит, разберусь. Главный ориентир – наша речушка.

С той стороны речушки, держась друг друга, расположились дачами наши состоятельные люди – у нас их зовут «средненькими». (Словцо «богатые», «богатенькие» все еще провокативно. Не надо нам его. Пока что.) Эти «средненькие» очень быстро разобрали спуски к реке. Их аккуратные и надежные (и прозрачные глазу) строгие заборы сбегают прямо в воду. Чудо! (Со временем речка, она небольшая, отойдет к ним.) Речушка – это будущий их законный страж.

По эту сторону речки разномастная голытьба. Когда пробил день послабления (а в нем, в этом дне, – час дележа), из Москвы хлынули толпы, с тем чтобы окружающую землю приватизировать – захватывать, брать, покупать. Хватали кусок за куском, где умоляя, а где угрожая и беря одряхлевшее начальство силой... Главное – прихватить землицы. А там кое-как слепил из досок сарайчик, вот и дача!.. А уж потом связаться с какой-нибудь воровской стройкой. И строить, и строить дальше, по возможности, обворовывая вора. Так что и голытьбе кое-что перепало. Хоть разок в жизни! Сарынь на кичку.

Иду вдоль темных ночных дач... Ага, Мироновы... Уклеевы... И ведь у них тоже (как и у Олежки) некая избыточная надежда на лето – у всех нас! Почти готовая национальная идея. Лето, лето! Дайте прожить лето!.. И в самом языке русском не говорят, не спрашивают, сколько ты годов прожил? *Сколько лет*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.